

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

4/2025



В номере:

Наследственность и предопределённость

Герой романа Дмитрия ИСАКЖАНОВА «Проскинитарий» (начальные главы опубликованы в «ДН»: № 8, 2022; № 4, 2023; № 3, 2024) живёт в своём длящемся настоящем, сплетённом из воспоминаний и ощущений детства, в котором островами возникают события и люди, — всё, что он «видел, всё, что он слышал, всё, что вдыхал лёгкими и впитывал через кожу», то, что отпечталось в характере и судьбе. И как всё это, с таким трудом приобретённое, передать сыну? «Что если и вправду её <жены> порода? — требовательно задавал он снова и снова свой вопрос тишине. — Что если...» И принимался разбирать, раскладывать по «стопочкам», направо-налево черты и жесты: его-её, бабушки-бабушки. Сойдётся или не сойдётся пасьянс?.. И хотя сюжетная рамка романа весьма неприхотлива: возвращение героя из Арабских Эмиратов, где он работал, в Россию, домой, в рушащийся мир семьи, — это роман прежде всего о времени, в котором проживается, изживается жизнь.

Собранье сочинений света

Поэтическая подборка Сергея ЗОЛОТАРЁВА с ироничным названием «Абсолютная классика» — зарифмованный портрет нашего времени: сложного, подчас абсурдного, вызывающего и оторопь, и восторг, но неразрывно связанного с реальной жизнью вообще и жизнью отдельного человека: «мы с тобою обнимемся/ как в автобусном парке/ пожилые omnibusы/ задувая огарки...» В лирике Феликса ЧЕЧИКА много о детстве, родителях и дорогом Пинске — всё это с годами проступает рельефнее и больнее, и жизнь как «чеховская пьеса/ и бахтинский карнавал». Поэтика собирающей «слово золотое» Любви ГЛОТОВОЙ — «и рифмой, и полрифмой, и верлибром» — стоит на «настоящем простом», которое не только время, но и быт, и мир.

Фото по памяти

«Не отпускали фантомные боли от потери театра. Во сне я пытался в него попасть. Что за чертовщина — не узнаю двери, они другие, не привычные. Звоню, стучу. Вахтёр не открывает. Надо же, всегда такой приветливый. Он не отдаёт мои вещи, вырезанную отцом из дерева собаку, которая раньше в театре никогда не была. Я кричу на несчастного так, что самому стыдно. Не пересказать все сны. Чем явственнее, тем хуже утро: прежней жизни не будет, а новая — во всём новая...» В рубрике «Проза.doc» — главы из будущей книги режиссёра Адольфа ШАПИРО «Замри. Расставания и встречи». Жизнь после закрытия Рижского ТЮЗа. Проявленные временем портреты любимых людей, окружавших в детстве, и людей театра: Натальи Крымовой, Олега Табакова, Давида Боровского, Сергея Дрейдена...

Измена? Побег? Спасение?..

«Начало XXI века в чем-то повторяет начало XX. Наше столетие не копирует предыдущее, скорее собирает в иной композиции фрагменты предшествующего опыта, разбросанные в истории; ведь это уже было: остров Лесбос, венецианский карнавал, кошмарные войны, потоки беженцев и переселенцев, опасные изобретения и открытия, неистребимая жажда нового... Тема миграции — неотъемлемая часть общей картины истории и не может быть понята без неё. Какие тектонические сдвиги рождают это явление? Что толкает отдельного человека на те или иные поступки, совпадающие с общим вектором или прямо ему противоположные?» В основе публицистических заметок Анатолия ЦИРУЛЬНИКОВА «Миграция» — записанные им личные истории людей из разных стран.

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.02.2025.
Подписано в печать 20.03.2025.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН





СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей ЗОЛОТАРЁВ. Абсолютная классика. <i>Стихи</i>	3
Дмитрий ИСАКЖАНОВ. Проскинитарий. <i>Роман. Продолжение</i>	9
Феликс ЧЕЧИК. Пунктир берёз. <i>Стихи</i>	80
Наталья ВЕСЕЛОВА. Милая Мила. <i>Повесть</i>	83
Игорь КОРНИЕНКО. Безделушки, или Сливовая косточка. <i>Рассказ</i>	107
Любовь ГЛОТОВА. Настоящее простое. <i>Стихи</i>	117
Татьяна ФИЛАТОВА. Спасибо за музыку. <i>Два рассказа</i>	120
Елизавета ЕВСТИГНЕЕВА. Собрание сочинений света. <i>Стихи</i>	133
Алёна ШВАРЁВА. Ловля корюшки в тёмное время суток. <i>Рассказ</i>	136
Ольга СИЧКАРЬ. Сокровенное. <i>Рассказ</i>	147
Елена ЧАЙКА. Жить на краю. <i>Стихи</i>	153

ПРОЗА. ДОС

Адольф ШАПИРО. Замри. Расставания и встречи. <i>Главы из будущей книги</i>	156
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Миграция	208
--------------------------------------	-----

НАЦИЯ И МИР

Юрий КАГРАМАНОВ. У них всё возможно. <i>Полемические заметки</i>	230
--	-----

СВЯЗКА РЕЦЕНЗИЙ

Татьяна ВЕРЕТЕНОВА. Надо ли быть своим? (<i>М.Неволошин. «Где сидит фазан»;</i> <i>А.Лужбина. «Юркие люди»;</i> <i>А.Обух. «Следующая остановка «Пионерская-стрит»;</i> <i>С.Волкова. «Великая любовь Оленьки Дьяковой»</i>)	250
--	-----

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Человек — это больше, чем тело, страна и планета (<i>Ю.Хоменко. «Лётное поле»;</i> <i>Д.Гаричев. «Пусть долетят»;</i> <i>А.Каримова. «Между»</i>)	258
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Смешной лес	269
---------------------------------	-----

SUMMARY	272
---------------	-----

Сергей Золотарёв

Абсолютная классика

* * *

в ателье в архангельском в пошивочной
сбившись с курса кройки и шитья
Господи я молвил безошибочно
из бумаги курточка моя

сам-то деревянный по подобию
образа могильного креста
отче мой приёмный из надгробия
смастерил мне азбуки фристайл

и бумаги кожа буйволиная
ближе к телу нежели своя
Божье имя длинное-предлинное
по размеру совести кроя

так в стихи заматывали мумию
но из сорока восьми листов
общее в тетради лишь безумие
наизнанку вывернутых слов

* * *

человек смотрит в окна
для него дважды два
это часть филиокве
а москва это старая смоква
погорелого века вдова
шеи тонкие словно шарфы
и москва как камео
появляется в роли москвы

Золотарёв Сергей Феликсович — поэт, прозаик. Родился в 1973 году. Учился в Государственной академии управления им. Серго Орджоникидзе. Автор поэтических сборников «Книга жалоб и предложений» (М., 2015) и «Линзы Шостаковича» (М., 2020). Лауреат премий журналов «Новый мир» (2015) и «Дружба народов» (2021). Живёт в г. Жуковском.

человек смотрит в оба
потому-то его
взгляд вбивает железные скобы
в парный облик всего

но и этого мало
как по мне
вся б москва утопала
в кирпичах в кирпичах фальконе

а и жители вкупе
как улитки плачевную слизь
очищали б аквариум с гуппи
что уже после них завелись

но в домах наших светом
натирают сетчатки ожог
и не пыль на предметах
но подросший пушок

по-над верхней губою —
и начни говорить
вещи (хоть бы и сами с собою)
где искать нам тот гидроперит

что тоску обесцветит
мир устроен под нужным углом
из загадочного в предмете
только старца зосимы поклон

человек ковыляет
мимо окон и всё же как встарь
из толпы иноземцев его выделяет
словно говор морозный январь

* * *

...на ледяную спицу

с чего бы то о чём и по-каковски
вы говорите с нами не пойму
Арсений Александрович Тарковский
рассыпав было набранную тьму

там ангел смерти кается икает
вязальной спицей щёку протыкает
без крови и без капельки смущения
он знает место где щека моргает
в своём вращеньи

там в колесе (чуть больше проживи мы)
велосипедном иже херувимы
водили бы на спицах хоровод
многоочиты и неуловимы
горящие колечки катафот

но пупсы словно каменные клипсы
висят на мочке уха не проткнув
собой слуха дабы он не слипся
в железный клюв

* * *

липе зимой примерещились цветики
пчёлы кормящиеся из рук
вышедший из комитета по этике
солнечный круг

где обретаётся в листовном шелесте
прикосновений запас
там у деревьев слёзные железы —
завязи глаз

липа внутриутробным развитием
зрительного сучка
смотрит какое-то старое видео —
лето река

слышит всё тёплое и временами —
веток пучком —
как размножаются именами
люди кругом

* * *

телескоп замёрз как воздух
линза выпала в кристалл
город с мыслями о звёздах
собираться перестал

наблюденье как искусство
ветром перенесено
на себя чтоб мысли в чувство
привести

здесь никто не умирает
кошке (в эти сорок дней)
состоянье выбирает
размышление о ней

ночью небо кьюар-кодом
донимает местный СДЭК
проведи рукой по водам
и получишь первый снег

тот кто слишком озабочен
приращением краёв
мироздания — birdwatching
выбирает вместо слов

(можно маленькую птицу
столь неправильно назвать
что потом она гнездится
на особицу опять)

да и я мой соглядатай
я живу в течение дня
что ты смотришь на меня

* * *

ступени каменные с планочкой
чтоб не поехала нога
и я подошвою изнаночной
кладу ступню наверняка

но если собственное творчество
ходьбы хоть как-то осознал
то руки хлопают как форточки
открытый выстудив финал

шагами шинами полозьями
мы разоряем гнёзда лиц
что прямо в небе расположены
не зная глиняных таблиц

деревья смешанные с травами
звучат как если извлекли
(где пахмутовы их где добронравовы?)
живую ноту из земли

как свету белому исполнится
16 миллиардов лет
достигнув возраста согласия
он непременно скажет нет

* * *

отражайся тщательнее мой мальчик
в зеркалах словно руки перед едой
моешь с мылом — как и любой зеркальщик
начиная с этой закончишь с той
стороны — от частого отражения
серебрится кожа амальгам
но подумай всякое шелушеньё —
и омоложение и корм малкам
любопытства от роду головастик
божьем промыслом к рыбному прикреплён
и уткнувшись нимбом в дешёвый пластик
наблюдает бедных своих гулён

* * *

дерево молнией испепелённое содержит
рукопись сгоревшую задолго до написания
(и появления паттерна)
вынутый из милосердия стержень
останавливает в касание
реактор ядерный

вспыхнуть возможно мгновенно но вскоре погаснуть
или огонь пронести на себе как перцовый пластырь

Ганц Кюхельgarten пример — так и нас с тобой выкупают
ангелы чая неряшливость уничтожить
в тёплом свете фаворском купают
дабы страницы жизни до тела съежить

с неба спускают лестницы трапы шесты понтоны
пожарные знают что рукописи не горят а тонут

* * *

мы с тобою обнимемся
как в автобусном парке
пожилые омнибусы
задувая огарки

зажигательных свеч

гужевые лошадки

отошли далеко их оставив пылиться —
на вагонной площадке
мы вольны развалиться

что нам графики трафики
если вне расписанья
скорой помощи рафики
да горячие финские сани

обниматься и ластиться
нам осталось и это
абсолютная классика

* * *

до нас доходит постепенно
что семенами на лету
в полях строительная пена
заделывает пустоту

что каждый цветик-семицветик
разбрасывает лепестки
как обязательный герметик
по истечению реки

зима без снежного покрова
вдруг обнажила суть вещей
над дверью к счастью подкова
лишь увеличивает щель

непритворённости: откроешь —
доводчик тянет на запор
как если жизнь застряла промеж
двух положений мир и мор

земля безвидна одинока
была и будет но теперь
всечеловеческое око
снимает дерево с петель

как сумасшедший с безопасным
тройным станком наперевес
природа ждёт где брить на пасху
чтоб после сделали надрез

Дмитрий Исакжанов

Проскинитарий

Роман. Продолжение

3. Домашние вечера и конец света

Конец света, которого Заяц когда-то так боялся и потом бояться забыл, кажется, наступал. Он приближался исподволь, безо всяких спецэффектов, без взрывов и радиаций, без всего того, от чего стоило бы бежать в подвал и что враз оставляло бы на свете его одного, лишив близких и родных людей — все были живы, здоровы, рядом, заняты делами, и всё же... Заяц оставался один.

С утра все разбегались: тесть, заговорщицки подмигнув, сообщал, что уходит «решать вопросы» (возвращался с координацией чуть нарушенной, как у опьянённого любовью кота); тёща с Варварой убегали следом на неопределённое, но весьма долгое время, и даже Женечка отпрашивался «погулять чуть-чуть во дворе» и приходил домой только в сумерках, замёрзший и голодный.

После ужина тесть, тёща и Варвара садились перед телевизором и, отрешённо уставясь в экран, лузгали семечки. Лузгали сосредоточенно, словно выполняли план: до оскомы, до трещин на языке. С такими языками много не наговоришь.

Гора шелухи цвета соли и перца росла, как пирамида.

От работы такой уставали, конечно, и порой уходили спать, оставив задел на утро, так что следующий день начинался с того, на чём закончился вчерашний. И, с утра поглощённые трудом, терялись в нём, растворялись в шелухе так, что к обеду, отрешась вдруг, с удивлением оглядывались, себя и друг друга не узнавая, и места не узнавая, и самих дней, мельчающих, становящихся крохотными, никчёмными, ничтожными, как эти семечки, не узнавая тоже. Заяц, видя такое наваждение, вспоминал забавное Женечкино слово «симекулы», но ему было совсем не до веселья.

Исакжанов Дмитрий Константинович — прозаик, поэт. Родился в Омске в 1970 году. Образование высшее юридическое. Печатался в журналах «Арион», «Знамя», «Новая Юность». Лауреат премии журнала «Дружба народов». Живёт в Подольске.

Начальные главы романа опубликованы в «ДН» — 2022, № 8; 2023, № 4; 2024 № 3.

— Слушай, — взмолился Заяц Варваре, — может, сходим куда-нибудь вместе? В театр, в музей, в ресторан, в конце концов? Просто прогуляемся...

— Когда? — холодно спросила Варвара.

— Завтра, послезавтра... — неуверенно пробормотал Заяц. — Посмотрим, выберем...

— Когда? — снова повторила Варвара, и голос её был сух. — Завтра мы с мамой идём в ателье, послезавтра — снова туда же. Потом у нас вечер встречи с одногруппницами, потом мы с подругами идём в Русский Музей, а там уже пора и уезжать.

Заяц поник.

— Вон сходите с Женькой, погуляйте по городу вдвоём, — смягчилась Варвара неожиданно.

И отец с сыном принялись гулять. Возражения отметались с ходу, мольбы «я сам, я во дворе» игнорировались напрочь — только вдвоём, как можно дальше от дома. Васильевский остров, Стрелка, Новая Голландия (ближайшие места Женечка уже исходил самостоятельно) — всё памятное, всё где когда-то бывали Заяц с Варварой, манкируя занятиями.

Глазели, болтали, сочиняли, глядя на гуляющих, истории: «Тако же тама живут страннья продолговатыя собачкы, еллинами именуемые “таксос”. Собачкы сии ростом невелики, но зело длинны, аки змеи, и бегают вретящися (видимо, рассказчик всё же хотел сказать “вертящиеся”) на пузии своем...» — это о записках предка Толстопузого Бабака, Бабаке Индикоплаве, отправившемся некогда в поход в Индию и Африку.

И мечтали о лете, об отпуске: «Однажды Толстый Бабак и Бабачонок собрались в путешествие.

— Видишь ли, Бабачонок, — важно сказал Бабак перед тем, как уже выйти из дома, — я тут случайно вспомнил, что согласно знаменитому уравнению Альберта Эйнштейна масса практически равна энергии. То есть чем выше масса, тем больше энергия, сечёшь?

— Секу, — сказал умный Бабачонок.

— Вооот... — Бабак многозначительно помолчал и продолжил: — А теперь посмотри на меня и представь, сколько во мне энергии...

— Ого! — почтительно прошептал Бабачонок.

— Да... Только дело в том, что я немножко эээ... инертный. Эта энергия дремлет во мне, и её нужно пробудить, привести в действие, понимаешь?

— Понимаю. А как ты это сделаешь?

— Ну, я думаю, ничто так не бодрит, как хороший обед.

Бабачонок кивнул, и Бабак снял уже надетый на спину рюкзак, прошёл на кухню, полез в холодильник и принялся доставать кастрюльки, баночки, горшочки... Обед был славный: котлеты, сардельки, буженина, холодец, куриные окорочка и даже паштет “Печёночный”, сделанный по лучшим магазинным рецептам из гречки и птичьего пуха.

Они так натрудились, что после обеда долго отдыхали, потягивались, полёживали и не заметили как уснули. А когда проснулись, стояла на земле ночь, и звёзды в небе светили ярко и маняще.

— Вон та звезда, — показал Бабак лапой на небо, — называется Эарендель, что означает “Утренняя звезда”. Это самая далёкая звезда, видимая на нашем небе, свет от неё до нас шёл почти тринадцать миллиардов лет!

— Тринадцать! — ошеломлённо прошептал Бабачонок.

— Да... Представляешь, сколько энергии нужно свету для такого путешествия! — сказал Бабак.

И Бабачонок подумал, что когда он подрастёт, то обязательно отправится к звезде Эарендель. Только нужно будет как следует пообедать».

Сырой ветер с Невы дул не переставая, заставлял отворачивать лицо, жмуриться, а Заяц с Женечкой всё шагали и шагали, порой невольно ускоряясь, порой останавливаясь, чтобы сделать передышку. Улицы города казались как-то особенно пусты (а может быть, и вправду опустели на время зимних каникул), и в пустоте этой всё безмерно отдалялось, — и прошлое и настоящее, и подлинное и мнимое, и даже призрак Алекса навещал Зайца всё реже, хотя, конечно, и не исчез вовсе. (Вспоминая тот злосчастный вечер душевного стриптиза, Заяц ёжился и вздыхал: чем больше отдалялся вечер, тем ближе становился день, когда Алекс предстанет во плоти, со всегдашней своей ухмылочкой и неуёмным бабьим любопытством.) И уже дома, глядя в серые, словно бы посыпанные пеплом окна, Заяц дивился тому, сколько вдруг пустого, ничем не занятого места обнаруживается в душе у него самого. Как там, где прежде всё громоздилось и лезло друг на друга, теперь свободно и тускло, словно в доме, из которого съехали все жильцы и забрали вещи, и даже выкрутили из крошащихся эбонитовых патронов слабосильные жалкие лампочки.

Темнело.

Неудовлетворённое любопытство по поводу злосчастной фразы Кирилла Матвеевича и смутное ощущение чего-то творящегося втайне и вблизи от него, но ему недоступного, заставляли Зайца нервничать, и нервозность, как морская волна, то захлёстывала его с головой, то отступала, но лишь затем, чтобы обрушиться ещё мощнее, ещё сокрушительнее.

От этого укачивающего её действия, то ли от изнуряющей борьбы за покой и равновесие или же просто от этих вечных сумерек исходящего света, всё время хотелось спать. И ещё ужасно хотелось сладкого. Просто невыносимо хотелось — ощущение недостатка сладости во рту преследовало, как галлюцинация. Один раз, когда искушение оказалось чересчур велико, Заяц, не выдержав, обманом покинул дом — сказал Женечке, что ему нужно отлучиться на минутку в аптеку, — и едва ли не бегом направился к кондитерской на углу.

Перед тем как войти он воровато оглянулся — словно боялся, что сын будет преследовать его, затем осторожно, готовый при первой опасности отказаться от своего замысла или сделать вид, что он здесь, в общем-то, случайно, потянул на себя огромную тяжёлую дверь за ручку с серебряной шишечкой наверху и скользнул в душный полумрак крохотного, как грот, зальца.

Внутри было пусто, лишь у окна молодая мамаша поила соком из коробки сидящего в коляске ребёнка. Продавщица (или барменша, или кондитерша — чёрт её знает, как там правильно), присев на корточки, спиной к залу, перебирала что-то в распаханном настёж холодильнике. Отлично. На ходу

доставая деньги, Заяц подошёл к прилавку и без раздумий купил целую коробку пирожных «Наполеон». Восемь штук. Подумал, не взять ли ещё кофе или чай, но решил не разбавлять удовольствия и так, с одной коробкой, отошёл в глухой конец зала. Усевшись за столик, он снял картонную крышку с прозрачным окошечком и, не теряя времени, подцепил пальцем первый увесистый кусок...

Торопясь, пачкая пальцы кремом и крошками, отдуваясь и отрывая, он упихивал в себя пирожные — одно за одним, — глотал, почти не ощущая вкуса, оглушённый приторной сладостью, и отчего-то изводился неуместной нелепой мыслью о том, что, может быть, к губам его прилипли крошки, множество крошек, и кто-нибудь вошедший, увидит его *таким*. Впрочем, эта мысль отвлекала его от угрызений совести, и он был ей за это даже благодарен.

Скоро ему стало трудно дышать, он в десятый раз пересчитал глазами оставшиеся треугольники: сколько их ещё тут? Ещё много. «Зря я всё-таки кофе не взял», — подумал он. Есть уже не хотелось, вид крема, воображаемая сладость его — отвращения ещё не вызывали, но воображения уже не будоражили. Что-то упало за спиной и загремело, катясь по кафелям. Заяц вздрогнул и обернулся: словно дожидаясь этого, громко, визгливо заорал ребёнок. Мать, присев перед ним на корточки, зашипела, заругалась, затем встала и поволокла коляску к выходу. Продавщица хлопнула дверцей холодильника. Заяц опустил голову, передохнул и заработал челюстями ещё быстрее.

Наконец, кое-как впихнув в себя последний кусок, он осторожно огляделся и облизал перепачканные кремом пальцы. Встал, вытирая с лица пот. Взял пустую коробку и побрёл к выходу. У самых дверей бросил коробку в ведро, поискал взглядом на свободных столах салфетки — их нигде не было, не было и продавщицы — видимо, ушла в подсобку. Ладно, на улице снег есть. Грузное тело его ныло, голова кружилась, и хотелось пить.

Улица опрокинулась сразу, всей своей просторной тяжестью пустоты, и загозила автомобилями и глупыми вывесками, прыгающими на растяжках по самому небу. Царапнув коготками по железу водостока, над самой головою звонко чирикнул воробей. «Откуда он здесь?» — отчего-то удивился Заяц. Он был удивлён тем, что кто-то сейчас вообще здесь есть ещё живой, кроме него, в этой узкой улице, в этом жёлобе, которым нужно скользить до самого дома, словно только он и дом были сейчас два единственно подлинных места отделившейся вдруг ото всего жизни. Он огляделся. Провёл языком по небу, сунул руки в карманы куртки — пальцы, сжатые в кулак, неприятно липли. Нет, тут если сумасшествием и пахнет, то лишь моим», — подумал он. Секунду поколебавшись, словно сомневаясь, стоит ли ему возвращаться, рыгнул и быстрым шагом перешёл дорогу.

И опять тянулось суконное время гостевых часов, и всё темнее ему казалось будущее, в которое он пытался заглядывать. Конец света длился, и было непонятно: то ли, раз он уже начался, можно считать его свершившимся, то ли финал преподнесёт нечто особенное, такое, чтобы уж без сомнения, как дверь — хлоп! — и на засов, а пока — живи.

А то вдруг принимались разговаривать посреди телевизора. С болезненной какой-то страстностью, с дотошностью питаемой не интересом или желанием

истины, а пустотою. Обсуждали однокурсниц, родственниц и знакомых, жизнь которых вот уж удалась так удалась: и машины, и хоромы, и золото-брильянты! (А некоторым даже шубу не сообразят привезти из Дубая, хотя любой мало-мальский дурак знает, что привезти из Дубая шубу — самое милое дело: и модно, и недорого. И вообще, если жену любишь, то чего-чего для неё не расстараться...) Разговоры самозарождались и утихали одинаково внезапно — жизненные силы, питавшие мороки, иссякали, не оставляя следов.

От пустоты, может быть, часто принимались пить чай, и тогда ВПБ томно и протяжно нудела: «Вениамиин, не сёёерпай», — но Вениамин, в трико и майке, не обращая никакого внимания на супругу, втягивал в себя кипяток из кружки, отнесённой на расстояние чуть ли не вытянутой руки, и лицо его было при этом сосредоточенно и мужественно. Заяц отворачивался. Медленно вращаясь в холодном космосе, он всё больше тосковал по домашней жизни — пусть хоть такой, какая она теперь есть, — и всё больше замыкался в себе. Лишь однажды, когда Варвара, будто забывшись или, наоборот, вспомнив что-то, на вопрос, сколько ей добавить молока в кофе — Заяц никак не мог сориентироваться в мерах и объёмах чужой посуды, — ответила «симекулу», он улыбнулся. Улыбку подхватила и Варвара, но, подержав секунду, отвела её от лица.

А накануне отъезда, вечером, в доме и в самом деле погас свет. Пока встревоженно переговаривались, пока гадали, что это, локальное ли недоразумение или всеобщая неприятность, да высматривали окна дома напротив, да сомневались, стоит ли куда-то звонить или уж просто подождать пока само всё наладится — в диспетчерской-то наверняка ведь сразу узнают о таком — да вздыхали, да чертыхались на неожиданную, преждевременную эту тьму и думали, что же теперь делать без телевизора и чая, Заяц подумал, не предложить ли зажечь свечи, но подумал так же и то, что это, пожалуй, ни к чему, ибо будет сочтено за издевательство, так как понятно, *какие* свечи всем сразу придут на ум.

Под предлогом посмотреть щиток Заяц включил на телефоне фонарик и направился в прихожую. Он шёл медленно, осторожно, и снова, как когда-то в школе или на вилле в пору заката, пространство умножалось, берясь словно из самого себя, питаясь собой; выворачивалось, продлевалось, повторялось, холостое и бессмысленное, в каждом шаге. Случайный отблеск фонарика мелькнул отражением в зеркале стенного шкафа.

На прощанье тесть, помявшись, сказал Заяцу: «А свечи те я вам с Варей покупал. Увидел — дай, думаю, куплю: дело молодое. Эх вы, пиджаки...»

4. Возвращение домой

После чая Женечка достал тетрадку, фломастеры и принялся рисовать — Заяц заглянул через плечо — машинки. «“Тачки”, поди, свои рисует, — подумал он. — И не надоест?»

Вагон качало, линии получались не очень ровными.

Женечка, словно почувствовав взгляд отца, не оборачиваясь, шумно вздохнул:

— Ну вот, скоро снова ты уезжаешь...

— Ничего, зато в отпуске все вместе будем, — ответила за отца Варвара. И добавила: — И ремонт закажем, наконец-то от всего этого хлама избавимся, всё будет как у людей.

— Да, но до отпуска ещё полгода, а может, и больше, — вмешался Заяц.

— Что ты хочешь сказать? — спросила Варвара голосом ровным и тяжёлым, как рельса.

— Что устал я уже. Кататься так... И Женька растёт без меня, я даже и не вижу его почти.

— Слушай, — Варвара вся подобралась, — так работают тысячи людей! В тех же Эмиратах — ты сам говорил — вообще почти все приезжие! В мире таких — миллионы!

Заяц поспешно умолк. «Ну вот, — он досадливо вздохнул про себя, — собирался сказать, собирался... и сказал, когда и не думал даже. И вышло всё по-дурацки и глупо...»

Ему как-будто не хватает воздуха, и он долго смотрит в окно, туда, где и простора, и воздуха много, он думает о том, что конечно, да, их миллионы, но мы-то не миллионы, и даже не тысячи. Мы — это мы. Единственные. И глупо всё это: сначала каждый ищет своё, единственное и неповторимое, а потом, не найдя, или найдя лишь отчасти и привыкнув к найденному, сживается, смиряется с неполнотой и влачит свой век уже как есть, ссылаясь на то, что «так принято», что «все так делают» и «всегда так было».

А за окном всё смеркалось, темнота там сливалась с темнотою здесь, и во всеобщем этом равенстве темнот пропадали стены, полки, — всё растворялось, уходило, и как-будто становилось даже легче дышать...

Зажёгся свет, и все вернулось на свои места, даже с обманчивым прибытком, а он всё так же смотрел в окно, и сквозь отражение собственного лица, вброшенного в узкую грязную раму, скользили, летели, стекая мутным потоком за предел зрения то рощицы, то поля и речки, то малые безымянные городки.

И Варвара смотрела в окно и думала, что деньги, как ни крути, нужны, что осточертела уже вся эта музыка в доме — куда ни ступи, всё визжит и поёт, — что Женьке нужно покупать на будущий год почти всё — вон как вырос, а денег вечно в обрез... Соскучился он, видите ли, устал. Если по каждому поводу распускать нюни, то так далеко не уйдёшь. Тоже мне... Кстати, и ему нужно что-нибудь домашнее туда купить, а то всю задницу уже протёр в своих трудах.

Легли спать, но спать не хотелось. Свесившись с полки, Заяц отыскал глазами глаза сына и спросил:

— Ну что, зайчонок, будешь дома писать свою сказку?

Сын виновато вздохнул:

— Не знаю... — И умолк.

Зато неожиданно взвилась Варвара:

Феликс Чечик

Пунктир берёз

* * *

Колонна за
колонной в бой.
Бежит слеза
сама собой.

И бой затих.
И ни души,
кто мог бы их
отпеть в тиши.

* * *

Сногшибательная кома, —
даром что живой:
из окна чужого дома
я смотрю на свой.

Я смотрю уже лет сорок
или сорок пять:
очаровывает морок
мальчика опять.

А в окне напротив мама
и в окне отец:
мандельштамовская яма,
метроном сердец.

Я смотрю, не отрывая
взгляда от окна,
словно рана ножевая
пролегла вина.

Против лома нет приёма?
В омут с головой:
из окна чужого дома
я смотрю на свой.

Облетели все деревья, —
улетят вот-вот.
А в окне чужое время
жизнь мою живёт.

Феликс Чечик — поэт. Родился в 1961 году в г. Пинске (Беларусь). Окончил Литературный институт имени А.М.Горького. Автор нескольких сборников стихов и многих публикаций в литературных журналах. Лауреат «Русской премии» (2011) и международной премии им. И.Ф.Анненского (2020). Живёт в г. Нетания (Израиль).

Мазилово

1

Берёзы,
золотом звеня,
сквозь слёзы
смотрят на меня.

А я,
как мёртвый на живых,
из ноября
смотрю на них.

2

Было: черным-черно.
Стало: белым-бело.
Долго смотрю в окно
сквозь тишины стекло.

Нет и не будет сна, —
будет пунктир берёз.
Вдребезги тишина
под перестук колёс.

3

Надо тратиться, тратиться, тратиться,
навсегда приходя,
где берёз чёрно-белые платёжца
сохнут после дождя.

Траты новые, новые, новые,
уходя навсегда,
где вечерние платёж еловые
украшает звезда.

* * *

Мне ужасно интересно,
чем закончится — а вам? —
эта чеховская пьеса
и бахтинский карнавал.

Растворился, испарился,
возвратился я назад,
где родился сын у Фирса
и расцвёл вишнёвый сад.

* * *

Если не продажа — так аренда.
Жизни безголосый минарет.
Припать? Пина? Нет, скорее Брента, —
рыжего заката пинский бред.

Если не любовь — тогда разлука.
Если не мечта — тогда конец.
Глухота заваренного люка
в пустоте нелюбящих сердец.

А рыбак, как шлюха на клиента
смотрит, улыбаясь и косясь.
И течёт, течёт по венам Лета.
И клюёт, клюёт незримый язь.

* * *

Возвратился домой,
словно в небытиё,
чтоб осенней зимой
накормить вороньё.

Перелётным вослед
не глядели они:
бесконечных трёх лет
одинокие дни.

У беды на краю
не кричат, не галдят.
На подачку мою
равнодушно глядят.

И голодными вновь
улетят во всю прыть,
чтоб закатную кровь,
как рассветную, пить.

Наталья Веселова

Милая Мила

Повесть

Ночь долгая. Под одеялом у Бабушки густое и душное тепло. Они с Милой всегда спят на одном широком диване — так уж повелось с самого начала, с того дня, что Бабушка взяла Милу жить к себе. Того дня? Она едва ли понимает, что такое — *тот* день... Ну, *просто* день — что-то почти знакомое: это когда за окном становится светло-светло, и Бабушка — грузная, как узел с бельём, в одной длинной-предлинной рубашке, с растрёпанной светлой косичкой через плечо — выбирается из уютной постели, пошире раздвигает тяжёлые шторы и задумчиво говорит: «Ну вот и ещё один день пришёл». Тогда Мила тоже выпрыгивает из постели, бросается к окну, тревожно смотрит в их скучный дворик, никого там не видит и начинает изо всех сил толкать Бабушку головой, вопросительно заглядывая ей в глаза:

— М-м? М-м? — громко стонет она.

Это Мила хочет спросить: «Кто? Кто пришёл?» — но говорить ей так и не удалось научиться, сколько она ни старалась. Со временем она, правда, поняла, что «День пришёл» — означает, что за окном стало светло и он, этот День, будет здесь до тех пор, пока не стемнеет, — и тогда придёт Ночь. И станет хлопать от сквозняка вечно открытая форточка, а в тревожных ночных отсветах наискось помчатся тучи больших белых бабочек. Миле их не достать, этих ледяных бабочек. Правда однажды, когда Бабушки не было в комнате, она ухитрилась взобраться на подоконник, оттуда кое-как дотянуться до форточки — и одна бабочка села ей прямо на нос! Села — и укусила её маленький носик мгновенным холодом! А потом пропала... Нет, это оказалась совсем не такая бабочка, которую однажды посчастливилось поймать, когда во дворе было тепло-тепло, как у бабушки в кровати, и Мила часами просиживала у открытого окна. Бабочка долго летала перед ней — жирная, белая — и дразнила, дразнила Милу своей наглой лёгкостью. А Мила не будь душой напряглась и — хват! Сильными

пальчиками сжала белую пленницу намертво и отправила в рот — даже не поняла, как это получилось: ведь хотела только рассмотреть... Она не успела оценить — вкусно ли ей, когда в комнате откуда-то появилась Бабушка, всплеснула руками и кинулась к Миле с криком:

— Что ты делаешь! Выплюнь! Плюнь сейчас же! Скажи: «Тьфу!»

Мила любила делать всё наоборот — не по своей воле, а просто так выходило, поэтому она, как могла крепко, сжала челюсти, — и тогда Бабушка принялась раскрывать ей рот насильно, запрокинув несчастной голову и зажимая нос.

— Какая гадость! — приговаривала она. — Какая гадость! Это же бабочка! Как ты только можешь! А если она какая-нибудь ядовитая?!

Зато так Мила узнала, что всё белое и лёгкое, что летает днём и ночью, в жару и в холод мимо их окна, называется «бабочка»...

Ночь скучная. Когда Бабушка спит, играть с ней нельзя, нельзя даже её трогать: если её разбудить, то она станет злая-злая и может даже больно и звонко шлёпнуть Милу по голой попе. А Миле почему-то именно ночью не хочется спать. Она выпрастывает голову из-под одеяла и с тоской смотрит на недоступных бабочек, мчащихся в квадратике открытой форточки. Бойко и ритмично щёлкает большая, злобная круглая штука под названием «будильник» — Мила его ненавидит и всё время норовит бросить на пол, но в Бабушкином присутствии этого делать нельзя: сразу получишь по попе. Зато когда Бабушки нет в комнате и Мила сталкивается взглядом с хищной мордой будильника, — она с наслаждением швыряет его на пол и топчет, топчет, — а он всё не замолкает. После этого главное — успеть отбежать подальше и, как ни в чём не бывало, усестся в кресло перед телевизором, чтобы Бабушка не знала, что это Мила скинула противную штукину, а подумала бы, что она сама спрыгнула на пол... Но та всё равно откуда-то знает, что произошло, как будто стояла рядом и всё видела. Мила совершенно не понимает, как такое возможно!

— Ы-а! — кричит она. — Ы-э! — Ей хочется сказать, что это не она, не она, но, как всегда, стоит раскрыть рот — и оттуда вместо таких понятных ей человеческих слов вырываются странные гортанные звуки.

— Не ты, говоришь? — отлично понимает её Бабушка. — А кто ещё, интересно? Вот я тебе сейчас...

Мила стыдливо отворачивает голову, и Бабушка сразу смягчается:

— Ах ты, бедная моя девочка... И чем только тебе мой будильник не угодил? Её тёплая ладонь ложится Миле на лоб.

— И какая же ты всегда горячая... Надо будет опять врачу показать тебя и спросить — нормально ли это? И ведь вроде здоровая... Бегаешь вон дай бог каждому...

Ночь тягостная. Звуки её одновременно приманчивы и враждебны. Тысячи шорохов, стуков, вздохов, колебаний воздуха — всё это слышит Мила, ведь она не умеет только говорить, зато всё остальное делает лучше многих! Ей тревожно, сладко, мучительно, словно откуда-то доносится соблазнительный дремучий зов — пойти бы ему навстречу, но куда, куда? Да и страшно, тесно где-то внутри... Мила боязливо заползает обратно под одеяло, приваливается к тёплому

Бабушкиному боку. Тут безопасно, родной запах обволакивает чуткие ноздри... Спит Мила. Сладко спит, пока опять не приходит этот... которого зовут День.

Они с Бабушкой не всегда бывают только вдвоём. Иногда приходят другие Бабушки, и тогда все сидят за столом, едят, пьют и разговаривают. Мила тоже сидит за столом со всеми, у неё есть свой личный стул, который никто не занимает, — она внимательно слушает, стараясь уловить смысл слов: не опасно ли что-нибудь для неё? А может быть, наоборот, — хорошо? Другие Бабушки тоже иногда к ней обращаются, в основном предлагая что-то съесть, и Мила иногда соглашается, а иногда — нет, по настроению. Но ни одна из Бабушек, кроме её собственной, её не любит — это очень понятно. Да они этого и скрывать не собираются! Вот одна — от неё нестерпимо несёт цветами, почти как от огромного красного веника, который однажды принёс Бабушке её Друг (он вообще-то хороший, но в тот раз Миле было не продышаться — даже все остальные запахи надолго пропали), — так вот, эта чужая Бабушка спрашивает Бабушку настоящую:

— Слушай, зачем она тебе? — И откровенно показывает на Милу. — Такой ужас...

— Действительно, — поддерживает её другая. — Ради чего ты её взяла?

— Очень жалко стало... — тихо говорит Милина Бабушка. — От неё племянница моя отказалась. Мужика себе нашла, а он ей — вот как ты сейчас: «Какой ужас!» Говорит, мол, либо она, либо я... В какой-то там приют её сдать хотели... А я как в глаза ей посмотрела... Ей два годика тогда было уже, и такая домашняя... Ну как её в приют! Совсем с ума посходили люди! Не позволила сдать — и ни разу не пожалела... Говорю ей: пойдёшь ко мне жить? Буду твоей бабушкой... Уход за ней минимальный... Ну, шарахаются некоторые с непривычки... А потом — ничего... Привыкаешь ведь. Мы большие друзья, да, Мила?

— Кстати, насчёт глаз — это правда, — неожиданно соглашается до того молчаливая самая маленькая Бабушка. — Просто васильки! И разрез такой красивый... Если б не всё остальное...

— Бр-р... Я лично никогда не привыкну, — упорствует та Бабушка, что вонючая. — Хотя она у тебя уже сколько? Лет семь, кажется? Ну, тогда недолго осталось — такие ведь, наверно, много не живут?

— Ещё как живут! При хорошем уходе! — испуганно восклицает настоящая Бабушка, прижимая Милу к себе. — Не слушай её, не слушай, хорошо? Ты проживёшь ещё долго-долго, ясно? Мы всегда будем с тобой вместе... — И к подруге: — Хоть бы при ней помолчала! Она же всё понимает! И теперь начнёт мучиться!..

— Иди ты! — принуждённо смеётся та. — Понимает... Какие у неё мозги... Она даже не понимает, что такое — жить... А уж умереть... — И машет огромной рукой с длинными коричневыми когтями.

Напрасно она так думает. Мила прекрасно знает, что такое жить. Это когда ты просто есть. И рядом — Бабушка. И приходит День. Творог со сметанкой на тарелочке... Смешные непоседливые пятнышки на спинке кресла — ты пытаешься их поймать, но они всегда убегают. И ещё ты обнимаешь Бабушку, когда

вы вместе смотрите телевизор — это такое окошко в коробке, где всё мелькает, мелькает... Интересно... Жить — это ещё когда пахнет курочкой, и тебе сейчас дадут попить тёплого бульону... А потом День куда-то уходит, и вместо него откуда-то появляется Ночь. И это тоже неплохо, только по-другому. Это тоже — жить. Волноваться. Хотеть чего-то непонятного. То проваливаться во тьму, то выныривать туда, где ровно дышит Бабушка и летят белые бабочки... Однажды вынырнуть — и увидеть, что День уже пришёл... Без тебя. А умереть — это, наверное, просто не вернуться из тьмы... Нет, Мила хочет всегда возвращаться... Она обязательно будет возвращаться... Тьма никогда не возьмёт её себе навсегда. Ни её, ни Бабушку...

Тот дворик, что только и виден из двух их с Бабушкой окон — кухонного и комнатного, — очень маленький, даже Мила это понимает. «Наш колодец», — называет его Бабушка, — а вот что такое колодец, не объясняет. Кругом высокие желтоватые стены, а посередине — будто бы диван, только жёсткий (Мила однажды сбежала из дома через окно и попробовала на ощупь). Это — скамья; хотя у неё и есть крепкие ноги, она никогда не бегаёт, всегда неподвижно стоит под огромным кривым деревом. А дерево это очень красивое. И умное. Гораздо умнее Милы. Та относится к нему с уважением, и когда окно в тёплое время совсем открыто, пытается крикнуть во весь голос: «Эй, дерево! Слышишь меня? Я — Мила!» «Э-о-о! — вылетает из её груди. — Э-э-а! А-ми-а!» Дерево не понимает Милу, но иногда машет ей своими мохнатыми руками. У него много рук, и всеми руками оно то ли приветствует Милу, то ли хочет схватить её и съесть, и тогда становится шумно и страшно...

На другой стороне двора в жёлтой стене — два маленьких окошка. Когда приходит День, — они тёмные; а если Ночь, — светлые.

— Видишь те окна? — указывает иногда Бабушка, стоя рядом с Милой и глядя вместе с ней во двор. — Там живёт наш с тобой Дима. Мой друг. Вон-вон его тень мелькает за занавеской!

Мила высвобождается. Она всегда так делает, когда совсем не верит в то, что говорит Бабушка. Когда ей абсолютно ясно, что такого не может быть. Например, те окна такие крошечные, а Друг — он же Дима — такой большой. Как он может поместиться в маленькое окошко? Вот она, Мила, сегодня хотела забраться в шкафчик на кухне — и не поместилась. А шкафчик-то ведь больше окошка!

— В том доме, за теми окнами, тоже есть небольшая квартирка, — втолковывает ей Бабушка. — Почти как наша с тобой, Мила. Только у нас одна комната, а там — две. Дима в них живёт со своим внуком. Вернее, не со своим, а своей покойной жены. И они так плохо живут, Мила, — ты не представляешь... Он такой нехороший юноша, этот его Юрка! Так обижает моего Диму, так обижает... Ах, Мила, Мила, ничего-то ты не понимаешь, ничего не ответишь мне, не посоветуешь... А надо ведь что-то делать... Что делать-то, Мила?

Мила видит, что Бабушка расстроена, от всей души хочет её развеселить, показать, что не нужен им никакой Друг, и дела нет ни до какого непонятного плохого «юноши», им вдвоём так тепло и сытно, а когда Друг приходит, —

он столько съедает, что вдруг потом им с Бабушкой не хватит еды? И не будет ни творога, ни сметанки, ни курочки, ни тушёной рыбки? Но как донести это до неё, до глупой? Зачем она всё время кормит ненасытного Диму, от которого пахнет... Ах, как странно пахнет от него! Когда Мила осторожно подойдёт и прижмётся к его плечу, то запах — нюхала бы и нюхала! Хочется головой тереться — если б только он позволял! Зато когда вытащит вдруг свою противную игрушку... Мила прекрасно знает это мерзкое слово: «Опять ты за сигарету! — кричит Другу Бабушка. — Только в её сторону дымить не вздумай: ты же просто убиваешь этим девочку!» Друг послушно выпускает вбок одну за другой тугие серые струи, но Миле всё равно становится тошно и муторно, она отсаживается как можно дальше от них обоих, но совсем уходить не хочет — слушает... Она откуда-то знает, что Бабушке очень нужен этот Друг. Может быть, даже больше, чем она, Мила... И если он ей однажды скажет: «Или она, или я...» Но он не скажет, чувствует Мила.

— А она у тебя, кстати, не такая уж и глупая... — однажды замечает Дима. — Взгляд, между прочим, почти осмысленный... Ну, страшненькая... Но ведь не совсем же до безобразия... Вон какие глаза красивые — надо только разглядеть... И что лысая — тоже можно привыкнуть... Мы ведь подружимся с тобой, Мила, да?

«Если ты не будешь есть столько курочки», — хочет ответить Мила, но молчит, потому что уже знает, что у неё это не получится. Ну ладно, пока у них есть еда: «Переводы меня кормят, не жалуюсь», — со смехом говорит иногда Бабушка. Ага, сейчас кормят, а потом передумают и перестанут. Лично Мила никогда не видела этих Переводов. Наверное, они приходят и дают Бабушке еду, когда Мила спит. А вдруг однажды не придут? Или они будут приходить и кормить её всегда, как приходят День и Ночь?

Тянется ночь, тянется... Спит Мила и не спит... Но там, где кружат белые бабочки, становится неумовимо светлее. Значит, к ним опять идёт День...

Последнее время он остаётся надолго, он почти всегда здесь, а Ночь... Она стала какая-то странная, почти не тёмная. Мила узнаёт, что она пришла, только когда Бабушка говорит: «Ну, всё, Мила, спать пора. Видишь — давно уж ночь на дворе». Мила тотчас подбегает к окну и осматривает двор: нет Ночи. День кругом, только другой... Непонятный: звуки, запахи и чувства, как когда Ночь, а по виду — День. Тогда Миле становится так беспокойно, что спать она не может вовсе. Только дождётся, пока громко задышит рядом Бабушка, — и украдкой выбирается из постели. До утра она бесшумно бродит по квартире — прислушивается и тайно страдает. Ей хочется, чтобы всё встало на свои места. Она ждёт, не придёт ли настоящий, знакомый День, а не этот, который только притворяется Ночью...

Зато когда долгожданный длинный День здесь, Мила часто остаётся одна. Бабушка снимает с себя лёгкий пёстрый халат, который носит дома, если никто, кроме Дня, к ним не приходит. (Мила знает это слово, потому что, когда ей иногда хочется особенно приласкаться и она буквально повисает на Бабушке от любви, та испуганно кричит: «Осторожно! Халат мой порвёшь!») Сняв халат, Бабушка надевает красивые гладкие платья («Как тебе моё платье, Мила?» —

Игорь Корниенко

Безделушки, или Сливовая косточка

Рассказ

Зимой и летом всегда с приветом?

То было время загадок, время поиска ответов, весёлое время, которое теперь, спустя без малого целую Вечность, вспоминаешь с тоской, тёплой, саднящей душу грустью...

Зимой и летом... Сколько нам тогда было, не больше десяти точно. Мне кажется, ещё и десяти не было, только закончил начальную школу, готовился к переходу во взрослую жизнь — в четвёртый класс, когда услышал эту загадку и узнал на неё ответ, вернее, даже не узнал, увидел.

В то лето проложили свою секретную дорогу в тринадцать счастливых остановок на электричке от главного вокзала до искусственного, рукотворного моря, море своими руками — уже захватывающе, не правда ли?! А там пляж с водой, меняющий цвет в течение дня от бело-серого до кислотно-зелёного, чёрного, и куча тайн... Но главная тайна, всем тайнам тайна, тайна тайн ждала впереди.

Колька Слива и загадал загадку чик-в-чик на остановке Звёздная, а на Юности ответ зашёл в наш везучий, во всех смыслах слова, всегда последний, вагон.

Похожий на двуногий пень, плотно сбитый мужичок с ноготок, обвешанный всяко-разными побрякушками: брелки, календарики, ручки, зажигалки, свистульки, игральные карты, маски животных и политиков, хулахупы и, рань господня, мечта мечт — кисточка для чистки пупка.

Он нам тогда казался древнющим стариком, хотя на деле ему точно было под пятьдесят, ну не больше шестидесяти уж точно. Детство — время без возраста: ты либо молод, либо...

Корниенко Игорь Николаевич — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии В.П.Астафьева (2006), драматургического конкурса «Премьера 2010», литературного конкурса им.Игнатия Рождественского (2016), Шукшинской литературной премии (2019). Участник проектов АСПИР. Живёт в Ангарске. Постоянный автор «ДН».

Зимой и летом неизменно в чём-то невзрачно сером, пряча глаза, и без того еле видимые щёлки, скупые жесты и гуканье вместо слов, исторически считалось, по умолчанию, продавец глухонемой с рождения, а мы таки верили, что ответ Безделушника смертельный. Его ответ, голос его, будет последним, что ты услышишь в своей жизни.

— Умрёшь на месте или узнаешь точное время, когда коньки откинешь, и умрёшь по предсказанному, услышанному, — заверял Слива. Колька, когда не крутил всем без разбора носы, ловко орудуя средним и указательным пальцами, говорил дельные вещи и на вопрос, почему Безделушник с приветом, отвечал со знанием дела: — Все мы не без привета, но у таких вот, жизнью обиженных, привет особый, никогда не знаешь, что от них ожидать... За этим Безделушником он буквально по пятам ходит, привет этот. Это же чувствуется, с ним всегда приходит какое-то напряжение, неуют, неудобство, люди в вагоне затихают — разве не замечали, — даже мы смолкаем и не шушукаемся...

— Точно-точно, дело Слива говорит, — поддакивали мы, четвёрка друзей, Хорошисты С Фабричной Улицы — так мы себя называли: Слива, Чиж, Киря (он же Шварц, особенно когда в очках а-ля Терминатор, особенно в пасмурную погоду), и я — Лоб, иногда Череп, Голова, Ленин.

Тайные имена, прозвища, по существу не такие уж и тайные, но жизненно, как мы считали, необходимые в общении в той же электричке по дороге к морю. Незнакомцы не должны знать наши настоящие имена, особенно их не должен узнать Безделушник. Похитит твоё имя, а следом и твою душу, твою жизнь, и безымянный продавец безделушек станет тобой.

Я, как ответственный за всё мистическо-таинственное, перестраховочно добавлял:

— Похитит не похитит, но лучше при нём помалкивать, ведь не зря и мы его имени не знаем, и он не просто так молчит. Зимой и летом... Притворщики — самые страшные люди, как говорится, двуликие, волки в овечьих шкурах, от лукавого, врут не краснея, меняют лица как маски, могут притвориться другом, родственником, даже родителем...

— Во-во, моя мать точно из притворщиков, зуб даю, — в сотый раз клянётся Слива, — таких притворщиц ещё поискать надо: пьёт, сколько себя помню, с утра уже в стельку, а говорит, болеет, таблетки это такие, говорит, депрессия, говорит, и отец верит, и все верят, у неё эта депрессия с моего рождения, я — её депрессия, одним словом, одной буквой. Притворяется матерью, через силу сыном называет, я же вижу, чую... Молодость у неё похитил я, планы порушил, пожить не дал свободно, погулять вдоволь, все дела...

Со Сливой спорить себе дороже, да и кто видел тётю Лизу, скажет со стопроцентной гарантией, что с ней что-то не так, что тётя Лиза скорей зомби, оживший мертвец, чем человек: волосы паклями на лицо, голова болтается в районе груди, походка как у жмуриков из фильмов — подтаскивая за собой то одну, то вторую ногу, колышась, будто с помощью ветра только одного и перемещается; куда ветер дует, туда идёт... А вот папа Чижа не притворщик, и похожий на птичку и фамилию, шуплый и сутулый Вася Чижиков считает,

что лучше бы отец притворился, а не появлялся и не валялся пьяным в самых неожиданных общественных местах:

— Это из-за стыда, из-за отца я такой, никак не оперюсь, не распрямлюсь, не зарычу как следует, — он своей пьянкой тотчас прижмёт, заткнёт, задавит. А вечно Чижом быть — уж лучше не быть совсем. В петлю, как дядя Гена, папин брат, он не то что батя был: не пил, спортом занимался, песни писал и на гитаре играл...

Кирилла воспитывает бабушка, бывшая директор дома интерната, прозванная воспитанниками Сталин В Юбке, и родителей своих Кирия не помнит, погибли в пожаре, не видит на фотографиях, всё сгорело, и на могилах вместо овалов ржавеющие чеканки еловых веточек. Строгая бабушка и очки под голливудского актёра отменила бы, узнай про невинный фетиш внука. Бабушка знает, как спасти Россию и молодёжь: железный занавес, ответственность и честность, вот как! И чем старше мы становились, тем больше соглашались с бабушкой Шварца.

У меня с родителями, тьфу-тьфу, всё складывалось, папа сказал ещё в первом классе «если почувствуешь, что мы отдаляемся и не такие друзья, как раньше, скажи, и мы во всём разберёмся и всё наладим». Налаживала, правда, всё всегда мама, как в отношениях, так и в квартире:

— Чинить — это у меня от твоего деда, — растолковывала, — он научил и как кран на кухне поменять, и первую помощь оказать...

Да и по-честноку, мама была куда большим другом, чем папа, на одной волне, так сказать, она и загадку разгадала:

— Пообещай только подальше держаться от этих побрякушников-безделушников и не связываться! С приветом они или без, но что все они на одно лицо — факт. Мне кажется, что девчонкой я его видела, что сейчас... Мы с подружками тогда верили, что они, эти немые торговцы, детей воруют, и как увидим, так давай хором причитать про себя, а бывало, от страха и вслух, специальное выученное заклинание, откуда уже его взяли не помню, но помню до сих пор слово в слово.

И мама, сделав серьёзное лицо, читала заговор:

— Соль воришке на глаза,
Соль на больные телеса,
На сердце злое, на дело лихое.
Пусть станет его сердце тестом,
Пока не вернётся всё добро на место!
И ныне, и присно, и во веки веков! Аминь! —

Поплевала через плечо. Пояснила:

— Потом, как прочитаем, обязательно поплюём в его сторону и вроде как успокоимся, и страх улетучивался, и уже думаем, пусть только подойдёт, сами его похитим...

Мама смеялась, я записывал по памяти заклинание, переспрашивая, уточняя, запоминая, вдруг пригодится.

«Вдруг» — попутчик тех времён: «вдруг, откуда не возьмись» и «как вдруг», случалось, появлялось, меняя всё вокруг — ход времени, событий, дел... Мы зависели от этого самого «вдруг», весь наш мир вертелся-кружился, строился вокруг «вдруг»...

Зимой и летом, весной и осенью всё случалось вдруг.

Возвращаясь командой Хорошистов С Фабричной вечерней электричкой, уже в четвёртом классе поздней осенью второй четверти, мы и забыть забыли о Безделушнике, как вдруг гудящий-галдящий-вопящий всю дорогу вагон притих, колёса и те застучали не громче наших мальчишеских сердец.

Неведомая, невидимая сила из тревоги и опасности с появлением торговца заполнила живые тела людей и мёртвую конструкцию железнодорожного несущегося во тьме состава. Цепной страж Цербер и повелитель немого юродивого — привет, что зимой и летом всегда рядом, отворачивал лица к тёмным окнам, заставляя сжимать кулаки, зубы, души... Напряжение натягивалось тишиной, запущенным сквозняком, шаркающими шагами Безделушника, его шумным, хриплым дыханием и звяканьем побрякушек...

Сиденье рядом с Кирей и Чижом пустовало, туда и свалил кучу сверкающего всяко-разного товара глухонемой знакомый незнакомец, не мешкая, заученно, по инерции прошёл в следующий вагон.

Я не сообразил что к чему, но через мгновенье друзья вскочили:

— Выходим! — дёрнул за локоть, потянул нежданно и непривычно взволнованный Слива.

Кирия с Чижом уже бежали вприпрыжку к тамбуру, противоположному тому, в котором скрылся Безделушник, хохотали, Чиж, успел я краем глаза увидеть, — спрятал за пазуху пёстрый рулон из свёрнутых в трубку глянцевого журналов.

— Так три остановки ещё?!

— Пешком дойдём, быстрее будет, — бросил мне Кирия, подмигивая и хлопая себя по вздувшейся, как у настоящего Шварца, квадратной груди, — поровну поделим, там, кажись, и кисточка для чистки пупка есть!..

Чистилки не оказалось в наспех схваченной Кирей охапке сувениров-финтифлюшек, зато нашёлся «мешок кота в мешке», пустой на ощупь мешочек, с ладонь, из грубой мешковины, завязанный на сотню узлов такой же дерюжной тесёмкой.

— Когда надо, там что надо, то и появится, в этом котомешке, ты, главное, щупать не переставай, — хихикнул Кирия, — зыкани, получше же, чем кисточка для пупка. Чижу вон дурацкие сканворды-кроссворды достались, теперь вопросами нас, как хорёк куриц, задерёт до смерти...

Не сопротивляясь, сунул мешочек в карман и не стал рассказывать, что увидел, когда уже бежали по перрону прочь от электрички — как Безделушник смотрел в окно и улыбался, страшной злой улыбкой-оскалом — «попались».

«Попались», — хлюпали лужи под ногами. «Попались», — шлёпал морозящий дождь. «Попались», — шуршали листья, шумел ветер в ушах...

С того вечера Безделушник поселился в наших снах.

Любовь Глотова

Настоящее простое

* * *

вот я
среди своих трудов и нег
готовки и уборки и посуды
смотрю в окно
на дерево одно
замыслило себе побег оно
пора мой друг пора
куда
откуда

усталая рабыня
жду весны
беги о дерево
побегами ветвями
и всеми листьями
расти шуми над нами
и шелести чужими именами
досматривая
прошлой жизни сны

Глотова Любовь Анатольевна — поэт. Родилась в 1985 году в городе Куйбышеве (ныне — Самара). В 2007 году окончила отделение журналистики филологического факультета Самарского государственного педагогического университета. Публиковалась в «Арионе», «Знамени» и других журналах. Автор четырёх книг стихов, среди них «облака сугробы снега» (Самара, 2020) и «Апельсины с дождём» (Самара, 2020). Участница Форумов молодых писателей «Липки». Живёт в г. Самаре.

* * *

Мы умираем по частям.
Из нас выносят части эти.
Хоронят эти части там,
где лопухи растут и дети.
Смотри, погиб весёлый взгляд,
надгробьем пролегла морщина.
На августовский звездопад
гляжу спокойно, как мужчина.
Не прячу то, что не спасти,
не плачу круглыми слезами.
И не прошу тебя — прочти
тетрадку с детскими стихами.

Первый снег

И рифмой, и полрифмой, и верлибром,
и парусом, и тучкой, и лучом
впускаю свет под кожу и под рёбра,
здоровуюсь со словом-палачом.
Колючий куст созвучий и мяучий,
звезда висит над городом и льдом.
В начале был великий и могучий,
большой, как воздух, и простой, как дом.
В таком дому — Эллада с Иудеей,
с Египтом Рим и Персия с Ордой.
В таком дому, которым мы владеем,
звезда всё так же говорит с звездой.

Сквозь первый снег мы пробирались нынче,
он шёл и шёл и снова шёл и шёл.
Так ты идёшь сквозь Эрмитаж к да Винчи
и к Пушкину идёшь меж царских сёл.
А я опять сворачиваю к Волге,
спускаюсь к ней и поднимаюсь к ней,
гляжу, как снегу радуются корги
душой коротколапою своей.
Гляжу, как заползает тихо солнце
за тучу и за правый бережок.
На колеснице цокает покоцанной
ноябрьский Гелиос, седой божок.

Всё, хватит фотографий. Ближе к делу,
к морозному узору на окне.
Последняя берёзка облетела,
и утонула истина в вине.
Переверни тропинку, как страницу,
по лесу бродит горемыка-лось.
Деревья ждут, нам надо торопиться
на великах проехать лес насквозь.
Косули чинно ходят, длинноноги,
среди дубрав прозрачные совсем.
Разглядывать вас, забывать тревоги
и не хотеть печалить вас ничем.
Но в первый снег земля полна печали,
блестит трава, как в музыке слова.
В глазах косуль две капли забренчали
и отразилась павшая листва.
Но в первый снег, равно как и в последний,
земля черна, что пропасть, что тоска.
А в памяти горяч ты, ветер летний,
и широка река...

* * *

о море помни думай о реке
рассчитывай на лето как на встречу
там пчёлы устремляются в сады
и собирают слово золотое
я слышу их в далёком далеке
жужжанию их я песенкой отвечу
о том что всё как раньше — я и ты
о том что настоящее — простое

Татьяна Филатова

Спасибо за музыку

Два рассказа

Олимпия

- Как тебе эта?
- Плосковата. Личико миленькое, но бёдра слишком тощие.
- Не знаю. А тебе какие нужны?
- Сейчас она повернётся спиной, ты поймёшь, о чём я.
- А, блин, да.
- Я же говорю.
- Но она такая, со вкусом, знаешь. Чувствуется, что девочка из приличной семьи.
- Тебе приличные нравятся или неприличные?
- Ха, да. Мне хочется такую, знаешь, породистую, стильную, ухоженную, и чтобы не зажата была, с огоньком.
- У тебя какое-то малореальное комбо.
- Почему?
- Породистые девочки бывают горячими?
- Слушай, ну это ты зря, бывают, конечно! Но не так часто попадаются.
- Ладно, мне хотя бы живенькую.
- Так, как ты любишь, без разницы, живенькая или нет, я тебе по правильному критерию выбираю.
- Да-да, хе-хе! Что-то я размечтался на самом деле. Может, вон та чёрненькая?
- Какая?
- Наклонись ко мне, у зеркала за колонной сидит, вон в такой облегающей кофточке.

Филатова Татьяна Олеговна родилась в 1991 году в Ульяновске, образование высшее, по специальности дизайнер. Участница Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (Липки) в 2019 и 2021 годах. Автор книги «О чём молчит лес» (2022). Лауреат ряда литературных конкурсов. Живёт в Ульяновске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 4.

- В зелёной блузке?
 - Ну да, в блузке.
 - Ничё такая, сочная, а волосы какие классные, размер третий, не меньше.
 - Да... огонь, если не подтянула. Я однажды с такой замитился, она эту сбрую снимает, а там, мамочки...
 - И что делал?
 - Что, бежал. А что делать?
 - Комплексы девчонке обеспечил.
 - Нет, я что уж, совсем? Я наврал что-то. Не помню что, но она вроде кивнула, поверила, наверное.
 - Потерпеть не смог?
 - Ты что, какой там, ты не представляешь просто!
 - Блин, ну зря.
 - Нет, у меня не получится, понимаешь? Я не могу, если только мне не знать этого вообще. Не переносу такое, шрамы всякие, неровности, прыщи. Мне надо, чтобы всё у неё было аккуратненько, чтобы маникюрчик, гладенько всё, ладненько, чистенько.
 - Ну девочки не какают, слышали, да.
 - Я и сам понимаю, что это мне мешает жить, но я идеал ищу, богическую женщину, понимаешь?
 - Ладно. Что ж. Будем искать. В целом эта чёрненькая нормально выглядит.
 - Познакомишься?
 - Пусть свой суп доест.
 - А тебе кто-то здесь нравится?
 - Не знаю. Может, вон тот.
 - Какой? Этот, что ли?
 - Ну да.
 - А ты что! Даже я лучше, чем он!
 - Даже?
 - Так я реально оцениваю свои шансы с тобой.
 - Ну не знаю, так-то он ок. Высокий, крепкий вроде.
 - Да ты что, он бледный, стрёмный. Волосы у него какие-то грязные, и это на голове! Значит, он вообще не моется. Представь, как он воняет?
 - Да мне такое даже нравится.
 - Фу, Вика!
 - Да что? Нормальный мужик. Если бы пару косарей накинул, точно.
 - Сколько?
 - Пять-семь.
 - А я?
 - А что ты? У тебя ни копейки нет.
- Он погрозил мне пальцем и опять посмотрел на чёрненькую. Погладил себя по голове, поправил причёску. Подышал в раскрытые ладони.
- Пойду освежусь.
 - Давай.

Он проверил zipper на ширинке и направился в сторону уборной. Я поставила его сумку поближе к себе, накрыла крышечкой бумажный стаканчик с кофе. Незаметно поправила вниз впившиеся косточки бюстгальтера, вынула из кармана зеркало.

— Девушка, у вас свободно?

Два парня лет двадцати с небольшим, слишком свежи и слишком широко улыбаются.

— У меня занято.

— А мы ненадолго. — Они сели за стол. — Вы такая красивая, хотим пригласить вас на съёмку. Снимать будем вдвоём. В паре. Сразу оба. Интересно такое?

— Сколько платите?

— Тёр как бы.

— Вообще неинтересно.

Один сразу сдался, откинулся на спинку дивана и опустил глаза. Второй решил включить быка.

— Ты не понимаешь. Зря отказываешься.

— Нет, не зря.

— Ты даже не знаешь, от чего!

— Слушай. Ни ты, ни твой друг мне не интересны. Посмотри на меня внимательнее.

— Ребят, а что вы на моём месте делаете? — Саня вытирал влажные руки.

Они зло посмотрели на него и молча поднялись. Толкнули стол мне под грудь, пока выбирались с места. Санёк посмотрел им вслед.

— Странные ребята. Что это вообще было?

— Тройничок предлагали.

— Ох ты. Ну, почаще свои кожаные штаны носи, тебе и не такое предложат.

Я не понял, я тебя спас или обломал?

— Спас, конечно, — я улыбнулась. — Они мелкие и без денег.

— Вот смелые ребята, восторгаюсь, — Саня присвистнул. — Ну что там моя брюнеточка?

— Суп доела, самое время.

— Слушай, может, и мне самому попробовать? Подсяду вот так же.

— И что? Тоже тройничок предложишь?

— А что, если с тобой, то, считай, верняк, ха-ха! — сам рассмеялся своей шутке. — Слушай, ну придумаю что-нибудь. Ты же знаешь, я импровизирую неплохо. Хм, нарисуй её портрет? Как-нибудь простенький.

— Я? Её? Сейчас?

— Да-а. А я навру, что это я! Скажу: «Барышня, вы так прекрасны! Вдохновили бедного художника».

— А что делать, если она после этого портрет во всю стену запросит?

— Ты мне друг или сундук?

— Да иди ты! И на чём я тебе её нарисую сейчас? На салфетке?

— Да хоть на салфетке!

— И ты к ней с салфеткой подкатишь?

— Да, что такого? У меня всё равно больше ничего нет!

— Тут одна салфетка осталась! Возьми у них, — я кивнула на соседний столик, он послушался. — И что это ты принёс? Какие-то тонкие.

— Тонкие — это разве плохо?

— Шуточки за триста?

— У тебя было с трактористом?

— Эконом не мой класс. Тихо, подвинься, мне её не видно.

Девушка отвернулась к окну и закрыла лицо большим стаканом. Может, не судьба? Ничего, что я рисую ее жидкой подводкой для глаз? Барышня действительно красивая, ничегошеньки у Санька с ней не выйдет. Тут нужен какой-то очень интересный подкат. Возможно, если она самолюбива, это сыграет нам на руку и ей захочется портрет. Но я не настолько дорожу Саниным настроением, чтобы писать такие картины. Интересно получается: от моего творчества зависит их вечер.

— Ты в курсе, что заставляешь меня повторить исторический момент?

— Нет, конечно, радость моя! Просвети.

— Как-то Пикассо пил кофе в кафе и рисовал на салфетке. Одна женщина попросила забрать эту салфетку. Он сказал: столько-то тысяч долларов. Женщина офигела, а Пикассо сказал, что на этот рисунок у него ушла не пара минут, а шестьдесят лет.

— Может, тебе всё-таки тоже чем-то таким легальным зарабатывать?

— Может, тебе пойти куда-нибудь? На работу, например?

— А сколько у тебя на это рисование лет ушло?

— Десять лет горшков, гипсов и голых мужиков. Чтобы теперь помогать тебе с перепихоном на вечер.

— В этих вопросах ты гений! — он чмокнул воздух губами, аккуратно взял в ладошки салфетку и смущённо направился к своей даме.

Сначала странно засеменял, на середине пути взял себя в руки, распушил хвост, скользнул ладонью по волосам, расправил плечи. Вот актёр! Нафиг ты на филолога выучился? Хотя я тоже зачем училась? Десять лет таскала в универ планшеты и треноги в чёрных чехлах, как паруса на ветру. Однажды мои снасти так развернуло порывом ветра, маленькой девочке плашмя по лицу — нос на бок, кровь, мать в истерике. До сих пор бежит холодок внутри, как вспомню. Искусство прекрасно, только если висит на стене, готовое и мёртвое. А пока оно в процессе рождения, то плохо от него всем: автору, семье автора, даже мимо автора проходящим. Заглянула за колонну: Санёк и девица улыбаются. Живопись мне принесла только боль, точнее, сначала было очень хорошо, а потом ужасно.

«Мерси боку! Зовёт меня посмотреть картину какой-то своей тётки к себе домой».

Я доела десерт, проверила помаду, расплатилась и вышла к парковке. Завела машину. Интересно, что он скажет завтра? Санёк даже себестоимости живописной работы не представляет, вот бы кое-кто удивился, узнав, что я трачу его денежки на портреты неизвестных баб. Если Саня хочет с ней дальше зажигать, пусть учится рисовать сам. В бардачке вместо сигарет лежал какой-то Санин хлам: пакет от шаурмы с остатками мастика, измятая визитка стоматолога, грязные

наушники, вскрытая пачка высохших салфеток. Собрала всё в кучу, кроме наушников, выкинула в урну и поехала домой. На светофоре пришла смс: «Любимая, сегодня приеду. С». Полковник чувствует, когда я уже без денег.

Мелкий сентябрьский дождь и полностью запотевшие стёкла. Вспоминала, какие краски закончились, какие высохли. Когда-то купить полный набор для меня стоило немислимых денег, теперь я могу позволить себе всё, не только акрил, но и масло, грунтованные холсты на подрамнике, а работаю, как привыкла с универа, на ДВП. Раньше не могла даже регулярно менять палитру, когда она накапливала слои высохшей краски, к концу занятий ломило руку. Я остановилась у художественного магазина, помедлила немного, заглянула в окна. Высокий кудрявый мужчина что-то выбирал у витрины. Не сегодня.

«Любимая, что тебе купить?»

«Рислинг сухой. Киноварь, умбру жжёную и титановые белила, не хочу выходить из дома».

«Хорошо. Привезу тебе чулки, хочу бенжерль в них».

Да хоть в костюме кролика. Бенжерль ему кажется ужасно оригинальным, хотя, если кто-то с его работы вскрыет нашу переписку, и без этого шифра будет всё понятно. Немного посплю перед сессией, если всю ночь работать. Завтра суббота, интересно, что он наврал жене?

ДВП формата А3 стояли, прислонённые друг к другу, небольшой стопкой. Здесь летний дождь над холмом, на электрических проводах замерли три птицы; тут зимний закат над деревенькой, пускающей дым в небо; вот полдень золотит стога на поле. На последней, с лунным пейзажем, акрил лип к пальцам. Что-то нарушила по цвету, источник света всегда самый светлый, задний план холодный и размытый, а передний тёплый и детальный. Надо исправить поверх. Работа пахнет опилками и акриловой резинкой.

— Вик, забери меня, денег на такси нет, — Саня зашептал в трубку.

— А на автобусе слабо?

— Ты на часы смотрела?

— Вполне успеваешь.

— Ты занята, что ли?

— Полковника жду.

— Это тот, который твой папик?

— Нет. Это тот, который тебя отмазал из обезьянника.

— А, хороший мужик! Слушай, а он подождать не может?

— Пока, Саша.

Я легла в постель, укрылась пушистой овечьей шкурой. Мне приснилось, как будто мы стоим в стекляшке — эркерном окне в универе — и курим. Точнее, я не курю, курят мальчишки. Стекляшка завалена метровыми планшетами, обратная сторона у них исписана названиями рок-групп, дурацкими фразочками, членами и номерами телефонов. На моём нарисована летающая тарелка и надпись I want to believe. Он стоит под лучом света, только начал растить бороду, и волосы торчат пушистыми клочками. Закатал рукава клетчатой рубашки, локти в прилипшей краске, за ухом карандаш, под мышкой планшет

Елизавета Евстигнеева

Собрание сочинений света

Апрельское

Заживают лужи, и заживается
На земле по-Божьему и всерьёз.
Оттого-то каждой весной заживается
Чёрно-белый свет голубых берёз.

Воробей у церкви примет лужицу,
Жадно небо и куполы в ней пия.
И я думаю: Господи! Нам ли — сбудется? —
Верить жаркою верою воробья.

* * *

Я понимаю только свет,
Не «может быть», не «да» и «нет».
На все вопросы ум не в силе
Подать ответ. Мерцанье пыли,

Больничный шкаф, окно, кровать —
Свет заливает всё пространство.
Вседневно свет благословлять
И есть святое постоянство.

На этот мысленный огонь
Уже не нужно ждать ответа,
Когда берёшь в свою ладонь
Собрание сочинений света.

Который час? Который век?
След горизонта. Детский почерк.
Не час, не век, а человек,
Светящийся во мне как прочерк.

Евстигнеева Елизавета Алексеевна — поэт. Родилась в 2003 году в Москве. Студентка Православного Свято-Тихоновского университета. Публикации в журналах «Новый мир», «Звезда», «Этажи» и др. Живёт в Москве. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Отфонарное

Комната темнеет изнутри.
Изнутри светлеют фонари.
Длинные глаза, немые лица.
А начнёшь плясать от фонаря —
И взметнётся выюга ноября —
Краденая кротость — листья, листья...

А фонарь привязан (он — утиль)
Сам к себе за тоненький фитиль
Или проводок души фонарной.
В крепкой паре человек и Бог.
Тот фонарь, смиренен и убог,
Он стоит, божественно непарный.

Я хочу родиться фонарём,
Чтоб везде, где я, — был свет и дом,
Быть едва смелей дворовой арки,
Чтобы на окраине веков,
Сломанных оград и сорняков
Освещать себя в забытом парке.

* * *

К.Ш.

Никто не узнает, что я была в церкви,
Пока снегопад без какой-либо цели
Гуляет по свету и свет освящает,
И день удлинится. Скоро светает.

Никто не узнает, что холодно было,
Январское иго колосось и выло.
Лишь ладана запах и крошечки хлеба
Давали понять, что держусь я за небо.

И знал паучок на церковной скамейке,
Согретый в сиянии, как в телогрейке,
Наш малый секрет — перед Кем я рыдала.
А впрочем — никто. Разве этого мало?

Симфония снега гуляла по свету,
А я повторяла молитовку эту.
Никто не узнает, о чём я молилась,
А снегоявление всё длилось и длилось.

* * *

«И попросил я рассказать о Боге
У дерева. И древо зацвело», —
Сказал Тагор. И вышел на дороги
Июньские, где яблоней мело.

Где яблони в закатную стихию —
Невесты несозревшие в цвету,
Какому пели богу — литургию,
Вынашивая в теле полноту?

Тагор был нем. Всё — непонятно бело.
Он поднял руку и отпрянул прочь.
И яблоко — расплакавшись — созрело
И лопнуло. Сомкнулись день и ночь.

И что спросить у яблока простого?
«А человек, скажи, — он тьма? Он свет?»
Тагор стоял и жаждал, жаждал слова.
И яблоко окислилось в ответ.

Алёна Шварёва

Ловля корюшки в тёмное время суток

Рассказ

* * *

Письмо пенсионерки на горячую линию.

Добрый день.

Сегодня совершили вылазку в гипермаркет. Солнце уже почти зашло за спину, сбоку луна, впереди белый куб новенького хосписа, ярко-розовый в закатных лучах. А перед нами мужик в рыбачьих сапогах по колено, по его походке сразу понятно, нетрезв, я всё время боялась, что он оглянется, потому что со спины, ну, просто вылитый маньяк-убийца Норман Бейтс из хоррора Альфреда Хичкока «Психо», из тех жутких кадров, когда главный герой вот-вот перевоплотится в собственную мать. Но у впередиидущего шея намертво срослась с плечами, удерживая тело, как крестовина удерживает марионетку, пожалуй, если бы ему удалось развернуть голову, он бы совсем потерял равновесие и навернулся. Да, он едва справлялся с ногами в рыбачьих сапогах по колено, какая уж там шея! Так что я шла и думала: где рыба, которую он ловил? Где его корюшка? Ведь в это время в Питере ловят корюшку. От него за километр несёт свежими огурцами и тинной, потому что корюшка именно так и пахнет. А в руках пусто! Ни удочки, ни ведра. Когда мы обогнали Нормана Бейтса, я не удержалась и бросила на него взгляд. Но вместо зловещего убийцы из-под брезентовой кепки с ушами куда-то мимо смотрела корюшка, огромная, с человеческий рост, и совершенно трезвая. Я так и не поняла, откуда у неё ноги в рыбачьих сапогах и откуда у неё колени! А главное, над ней кружились чайки! И вообще, как такое возможно!

Наконец, мы дошли до гипермаркета, а корюшка, пошатываясь, побрела дальше.

Что же это такое, спрашивается?!

Алёна Шварёва — драматург. Училась в СПбГАТИ на факультете сценических искусств, в магистратуре на курсе Н.С.Скороход «драматургия и проектирование спектакля». Работает в театре. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 11.

Теперь можно открывать, как Колумб Америку, даже обрубки вишни у почты?! Люди ходят по улицам в изумлении, они не узнают собственные дома! Чёрт знает, что творится с этим миром! Прошу вас, примите какие-либо меры! Ведь это никуда не годится!

Нагваль

Быстро. Завиток в два стола, чашки — кто в лес, кто по дрова, кофе приличный. На холодильнике книги-утопленницы, всплывшие во время весеннего паводка. И всё восхитительно пропахло табаком. Даже приколотые к стене рисунки, вырезки из газет, рекламные флаеры. Тошнотворный запах. В углу оборвыш тетрадного листа с надписью карандашом: «Нагваль». Без телефона, сразу адрес.

Мы — это пять абитуриенток в ожидании окончательного списка поступивших. Сейчас каждая из нас на ринге, это только кажется, что мы пьём кофе, болтаем, читаем надписи на стенах. Мы практически не знаем друг друга, потому что не до таких мелочей: как кого зовут и откуда кто родом. Толстокожие борцы сумо и не знают о том, что такое настоящая битва, Рокки Бальбоа танцует джигу в бикини на разогреве между нашими раундами. Мы — это пять абитуриенток театрального института.

«Нагваль — это же шаман?» — говорит одна.

«Ага», — отвечает другая.

«Круто!» — соглашается третья.

«Совсем рядом, через двор», — предлагает четвёртая.

«Всё равно ещё часа три ждать», — поддерживает пятая.

Десять ног. Мы идём по адресу, дом внутри колодца, парадная обычная, пахнет кошками и извёсткой, последний этаж. У двери мозаика из звонков, напротив одного на скотче — «Нагваль». Значит, не наколка.

Открыл молодой человек в трениках, волосы всклокочены, глаза трезвые, вид настолько нормальный, что приведишь с ним играть в прятки, ему достаточно было бы просто встать в тень, и ты бы не отличил его от стены. По коридору, вдоль разобранных на органы велосипедов и ожидающих наполнения банок разного объёма, мы заходим в комнату.

Окна заклеены фольгой, стены завешаны чёрной плотной тканью, к которой повсюду приклеены на скотч или приколоты булавками записочки — похоже, у парня совсем плохо с памятью.

Нагваль показывает на одну из нас:

— Вам лучше уйти.

— Почему?

— Так будет лучше для вас.

Теперь нас четверо.

— Если кто-то хочет, тоже может уйти, — говорит Нагваль.

Ещё минус две. Остаёмся я и красивая, эта-то поступит уж точно.

— Чаю? — предлагает Нагваль.

Две чашки, кипяток из термоса, каждой по пакету «Принцесса Нури».

Красавица резко вспоминает, что, вот чёрт, важная встреча, опоздать ну никак нельзя. Для красавицы не такая уж дура и, наверное, точно поступит... героиня.

Теперь я с Нагвалем наедине.

— Этот чай для тебя.

Занимательное зрелище.

— Мы исследуем сновидения. Осознанные сновидения. Мы — это группа из четырёх пар по сторонам света. Мужчина — восток, женщина — восток, мужчина — юг, женщина — юг, мужчина — запад, женщина — запад, остаётся только север. Мы ищем женщину Север. Будешь женщиной Север? Никакой наркоты, сексуальных отношений, это чистая потеря энергии, только овладение техникой осознанных сновидений.

— Я поступаю в институт. С сентября учёба, если, конечно...

— Потеря энергии.

— Но...

— Совмещать не получится.

— Послушайте, мне пора...

— Но ты и есть женщина Север.

К тому времени список, должно быть, уже прикрепили к доске объявлений при входе в институт.

— Мы путешествуем по снам. Самое сложное освоить первый шаг. Научиться пробуждаться во сне.

— Я каждое утро пробуждаюсь.

— Это уже следующий этап — пробуждаться во сне, в котором ты видишь сны. Сейчас тебе необходимо сконцентрироваться на одной задаче. Попробуй сосредоточиться на дыхании. Дыши в точку между бровей. А потом прикажи себе открыть глаза.

— Они у меня открыты.

— Ты уже очень близка к пробуждению, ты совсем рядом, уже почти тут.

Сделай усилие.

— Да я же ещё не засыпала. У меня из-за экзаменов бессонница.

— Бессонница — самый верный признак, что пора просыпаться.

— Найдите другую женщину Север.

— Это невозможно. Женщина Север — ты.

— Да что это значит вообще — Север?

— Север — это ты.

Через месяц, возвращаясь из деканата со студенческим билетом в кармане, я решила ещё раз сходить по тому адресу. Отыскала двор, поднялась на девятый этаж. Рядом со звонком уже не висела бумажка «Нагваль». Но я хорошо помнила, какой из них, нажала. Дверь открыла старушка в халате, за ней люто лаял нечёсаный шпиц. Я говорю: «Нагваля можно?»

Она в недоумении: «Тут такие не живут».

Я ей говорю: «Курчавый, молодой, с глазами, такой, как ранний Бертолуччи, комната в конце коридора».

Старушка только плечами пожимает: «Там уже полгода только пауки. На замке. И никакого курчавого. Рыбак один запойный жил, так лысый был и помер. Но он как стиль скорее ближе к немецкому экспрессионизму, что-то из Фрица Ланга, комната до сих пор рыбой воняет». Говорит: «Может, приснилось? Бывает...»

* * *

Письмо пенсионерки на горячую линию.

Добрый день. Буду краткой. Только факты:

Тёмненькая грудка, лазоревые полосы поперёк крыла, сами чуть меньше голубя, но стремительней и живей. Держатся стаяй, точно одно большое птичье тело. Голодные сойки. Числом не меньше полутысячи. Поднимаются над крышей соседнего дома — становится темно; камнем пикируют вниз — светлеет, но рябит. За окном сплошной сойкин шум. Они штурмуют рябиновые деревья и с криком облаживают красные гроздья перед моим домом. Снег в алых подтёках. Подозрительно похожих на кровь.

Потом они внезапно бросают рябину и срываются вверх к моему девятому этажу. Удивительно, как они не бьются о стёкла. Метель из птиц. Птицы повалили крупными хлопьями. Завалило сойками. Воздух больше не прозрачен, он как китайская ваза в лазоревую полосочку.

Наверное, вырубил сойкин лес? Что-то же заставило птиц сунуться в город? Стужа, голод. Но, получается, сейчас, мой дом — в самом центре бездомной стаи. Я живу в самом центре бездомной птичьей стаи. В самом центре стаи бездомных птиц.

Уважаемая Горячая Линия, сделайте уже что-то. Ну ведь так невозможно, безобразия какое-то. Добропорядочные граждане в недоумении! Это что же получается, мне теперь оформлять гражданство бездомной птицы? Или прописываться в стаю? С миром творится что-то странное! Прошу принять меры.

Пенсионерка и её шниц Вася.

Актёр

Он актёр.

Он сошёл с ума.

Звонит телефон. Он не отвечает. Он, видите ли, ещё не нашёл слов, чтобы говорить по телефону, — все слова чужие. А ведь это мог быть агент или с киностудии.

Он видит страшные актёрские сны.

Он опаздывает на спектакль.

Он играет роль, но не помнит текст, даже приблизительно.

И нигде, ни у кого нет книги или распечатки с репликами. Вот уже пора выходить, на него смотрят партнёры, помреж, декорации, даже половицы сцены смотрят прямо на него, а он не помнит ни одного слова.

Когда-то давно он ложился на пол, закрывал глаза, слушал своё дыхание, полностью расслабив мышцы тела, представлял оранжевый шар, в который погружал свою мечту. Он прочитал, что мечту необходимо визуализировать предельно детально и натуралистично, тогда она становится действием.

Он представлял чёрный просцениум, светом выхваченный круг на авансцене. Периферическое зрение ловит все его четыре тени. Значит, он точно в центре луча. Дыхание такое, что понятно: на сцене он один — приятное ощущение. Взгляд вниз — подол красного платья касается протёртых досок, влево, вправо — пыль. Зрительный зал, как пальцы слепого, — пристален. Заняты даже приставные места.

...Оранжевый шар с мечтой он укладывал в центр солнечного сплетения и лежал так часами, пока тот не прорастал в дыхание и кровь.

Желаемый результат должен был реализоваться через восемь месяцев.

Через восемнадцать лет он находит себя произносящим монолог перед позолоченной мандалой зрительного зала.

Херувимы, склонив головы, держат погасшие светильники в пухлых детских руках над тихими зрителями. Всё его тело вибрирует. Он струна. Контур пальцев прозрачны, они светятся в луче софита. Периферическое зрение захватывает все четыре тени. Главное, не вывалиться из света. Он стоит на правой ноге и слушает левым ухом. Делает шаг назад, обводит ногу полукругом, чтобы не наступить на подол красного бархатного платья, несколько капель пота падают на подмости. Луч движется за ним — кругом пыль. В зале аншлаг, админ не смог выписать контрамарку даже собственному стоматологу.

Актёр уже достаточно опытен, чтобы раздвоиться и, оставаясь в роли, увидеть себя со стороны.

«Чёрт возьми, — думает он, — сработало».

На табло за левой кулисой загорается надпись, видная только актёру на сцене: «Выход».

Он произносит финальную реплику. Принимает овации, на сцене появляются его коллеги, от них приятно пахнет гримом, потом, канифолью. Они берутся за руки, делают четыре шага вперёд, кланяются, четыре шага назад. Ещё от них пахнет табаком, коньяком и жвачками. Снова кланяются, это повторяется несколько раз. Затем занавес опускается, но никто не расходится, занавес поднимается вновь, зрители стоят и бьют в ладоши, у них хорошо получается, громко, звонко. У актёра сияют глаза, брови подняты, на губах улыбка, он вдыхает полной грудью. Занавес опускается.

У проходной толпятся, сигаретный дым. Актёр слышит голос: «Пора просыпаться».

«Простите», — говорит Актёр.

— Просыпайся.

— Не знаю, с кем я говорю и зачем поддерживаю беседу, но сейчас я пройду по набережной, сверну на Гороховую, по ней до Загородного, двадцать минут

на метро, дальше автобус, можно было бы и пешком, но устал как чёрт. Я доберусь до кровати и не раздеваясь рухну замертво, без задних ног. Потому что не высыпаюсь последние восемнадцать лет напролёт. Единственное, что меня могло бы сейчас порадовать, — это хоть часик сна. И, может быть, мне приснится приятный сон о том, как я с другом рыбачу на лодке, сейчас как раз корюшка пошла.

— Хронический недосып — верный признак, что пора просыпаться.

— А кто вы, собственно, такой?

— Мы исследуем сновидения. Практика осознанных сновидений. Будешь женщиной Север?

— Это не вписывается в моё амплуа.

— Ты слишком крепко спишь.

* * *

Письмо пенсионерки на горячую линию.

Доброго времени суток.

Вчера мы с Васей вышли на ежедневную прогулку. Обошли детский сад, торговый центр, хоспис, «Тандир Шаверму» и ларёк «Союзпечать», после чего оказались в том же месте, из которого начали прогулку. Там растут две берёзы. Вася метит их с особой тщательностью, это его любимое место с щенячьей поры. Прошлым летом я заметила, что одна из берёз засохла. Ни одного листочка — голый ствол и ветки. Такое случается. Но сейчас ранняя весна, и оба дерева, как и полагается, стоят пустыми. Снег сошёл. И если оглядеться, то не отличишь: поздняя осень или ранняя весна. Если не считать, что после зимы больше грязи на газонах, то пейзаж одинаков. А я вот хоть убей не помню, какая из двух берёз мертва, а какая зарастёт пышной кроной, и на ветру её листья будут сверкать лучепёрыми рыбками. Что одна, что другая, что целая роща в соседнем дворе, — чёрно-белые стволы! Никакого компромисса — голые ветки, гора мусора на земле. Но, уважаемая Горячая Линия, получается, что мёртвое дерево выглядит так же, как живое?! А живое — как мёртвое?! Безусловно, время всё расставит по местам! Но должна же быть хоть какая-то определённость для тех, кто здесь и сейчас! Получается, человек смотрит из родного окна и не может отличить мёртвое от живого. Как же так выходит, что на вид они одинаковы? Вася мой метит и ту, и другую, но что с Васи взять — шниц и есть шниц! Люди ходят по городу в недоумении: мёртвое и живое на одно лицо! Нужно внести ясность в этот вопрос и навести хоть какое-то подобие порядка!

С уважением, Ваша пенсионерка и её шниц Вася.

Женщина Север

Она работает в филиале кондитерской «Север» в спальном районе на первом этаже панельного корабля, в помещении трёхкомнатной квартиры, переделанной под торговую точку. Из окна сделали дверь и подвели лестницу, выполняющую роль крыльца. На окнах повесили легендарные гербы с белыми медведями. Милое заведение. В отпуск она мечтает уехать куда-нибудь на юг.

Ольга Сичкарь

Сокровенное

Рассказ

Едва наступил октябрь, тёплый и солнечный, как славный наш магазинчик «Небесная арт-лавка», продававший диковинные предметы интерьера и мистические картины, закрылся. Все разбежались, начальница уехала к детям в Словакию, а я медленно и лениво искала новую работу. Что было спешить? Просторная тётё-Анина квартира в Замоскворечье сдана хорошей семье из трёх человек и одного лупоглазого мопса. На деньги, что каждый месяц приходят от них, можно жить припеваючи.

Я будто затаилась и ждала чего-то. Гуляла по паркам и бульварам, ела мороженое, каталась на велосипеде... И однажды, засмотревшись на облака, врезалась в дорожный знак. Так жёстко упала и ударилась, что на миг потеряла сознание. «Лиза, нельзя быть такой! Случилось что — бегом к врачу!» — сказала бы мама, если б узнала. Но я не стала ей говорить — от одного запаха больницы у меня приступы паники. Когда тётю Аню положили в стационар на лечение (по мне, так она не была сумасшедшей, просто со странностями), я навещала её каждую неделю. До самой смерти. С тех пор не могу выносить, как там пахнет — лекарствами, спиртом, бинтами, — внутри всё сжимается в комок.

Голова после падения кружилась лишь в первый день, шишка на лбу прошла быстро, а вот плечо я повредила серьёзно. Когда правая рука не висела плетью, а что-то хотела делать, — её пронзала острая боль.

А левая рука сразу отозвалась. Неумелая такая помощница, но участливая. Всё готова подхватить, взять на себя. Ключи из пальцев выскользывают и летят на пол, ложку держать неудобно, за нож возьмёшься — куски хлеба и сыра кривые-косые выходят. А попробуй картошку почистить!

Сичкарь Ольга Валентиновна — журналист, редактор. Родилась в Красноярске в 1981 году. Окончила Высшие литературные курсы Литературного института им. А.М.Горького. Печаталась в журналах «Знамя», «Звезда». Дипломант XXI Международного литературного Волошинского конкурса в номинации журнала «Дружба народов» «Всех миров преображенье...». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 8.

Но потихоньку всё стало получаться, я даже начала учиться держать ручку в левой — записи я привыкла делать на бумаге, а не в телефон.левой моей руке это понравилось, всё равно что ребёнку, только начинающему рисовать: кляксы, каракули получаются, а ему весело, пальцы прямо чешутся, так охота что-то ими поделывать.

День на пятый строчки стали выходить ровнее, буквы корявые, но опознаваемые. И вот примерно тогда я ощутила приятный возбуждающий зуд в подушечках пальцев — будто они обретают небывалую, непривычную мне чувствительность. Левая рука встрепенулась, почувствовала себя живой, ощутила свободу, невысказанную до этого. Жизнь пела в моих пальцах. Я как будто завела котёнка — любопытного, шептунного.

В субботу гуляла в Нескучном саду. Пальцы моей левой руки всё время хотели касаться. Всего. Я вытянула её в сторону и трогала, что попадалось по пути: скамейки, фонари, усыпанные маленькими листиками кусты, деревья. Стволы, оказывается, на ощупь такие разные. Шершавость дуба — сухая и глубокая, по его рытвинам и морщинам можно путешествовать, как по лабиринту, поднимаясь и спускаясь, перебираясь из одного канала в другой... Молодые клёны — скользкие и прохладные, трогаешь ствол и чувствуешь его глянецовость, он покрыт тонкой прозрачной плёнкой. Попадались берёзы — гладкие, с грубыми поперечными шрамами. А если провести рукой по кроне куста, — ветви шелестят по ладони, разговаривая, пружинят и убегают назад, на привычное место.

Металлические перила набережной торжественно, молчаливо холодны, пальцы скользят по ним боязливо, пока не упрутся в сменяющий железо гранит. Он шероховатый и кажется теплее, мягче, дружелюбнее. Я закрываю глаза и медленно веду по нему рукой. И вдруг всплеск — у меня перехватывает дыхание, — рука попала в маленькую лужицу в углублении каменного ложа. Я смотрю на свою мокрую левую ладонь. Смеюсь. Получила холодный душ?

Иду по парку дальше, мои пальцы, как непослушный трёхлетний ребёнок, до всего дотрагиваются, и через прикосновения я могу разглядеть больше, чем глазами. Пальцы видят что-то ещё, и этот мир — ярче, шире. Он тревожит меня неимоверно, проникает в глубины сердца, о которых я раньше не подозревала, и вызывает такой отклик, будто шепнула чуть слышно «мир, привет!», а в ответ откуда-то с небес грянул симфонический оркестр.

Потом я села в автобус. Он катил по Ленинскому проспекту мимо полукруглого «дома самоубийц» с гипсовыми фигурами по краям крыши, мимо Академии Наук с «золотыми мозгами» наверху, мимо памятника Гагарину, взмывающего в небо гигантским фаллическим символом. С ума сойти, какой странный у меня район! Раньше как-то не приходило в голову.

Вот двери автобуса открываются, в него с трудом взбирается бабушка с сумкой на колёсиках. Я помогаю ей. Двери закрываются. Переведя дух, бабуля забирает у меня тележку, случайно обхватив рукоятку поверх моей левой руки. Как будто через саму кожу я слышу тихое бормотание, похожее на шуршание бумажного пакета: «В Дикси морковь дешевле... А лимоны совсем дряннь...» С удивлением смотрю: её губы поджаты — она и не думала говорить

что-то вслух. Прикасаюсь к её руке, будто бы придержать тележку, и она продолжает: «На Шверника за сахарным песком теперь ехать...»

Нет, не показалось. Я это слышу!

Прислоняюсь к стеклу, остужая лоб, смотрю на дорогу. Асфальт под колёсами автобуса мельтешит, убегая назад, на дороге грязь, пыль, полустёршиеся белые полосы. Такие же мысли я и услышала в голове этой бабули — как грязь под ногами, — серые, суетные, спешно семенящие и мало что значащие? Я подняла глаза. Небо было бледно-голубым, высоким и спокойным. А если заглянуть в душу той бабули, — можно увидеть не мельтешение грязи на шоссе, а небо с облаками? Смогу ли я?

Делаю пару шагов и сажусь возле старика с красивой седой бородой. Я смотрю на кисти его рук с выступающими бугорками синих вен, ярких и тонких, как реки на атласе мира. Одна венка пульсирует. Мне хочется прикоснуться к ней и послушать.

Моя левая рука — своенравная, порывистая, страстная, — не дожидаясь разрешения, легонько касается его запястья. Тут же в голове вспыхивает имя — Кирилл! Так внезапно, что я произношу его вслух. Старик удивлённо смотрит на меня.

— Что — Кирилл? — требовательно спрашивает он.

— Я случайно сказала, простите! — смущённо отвечаю.

Но старик не отрывает от меня взгляда. Ждёт.

— Кирилл... Что с ним?

Это невыносимо. Я извинилась и заторопилась к выходу. Выпрыгнула на остановке. Но старик последовал за мной.

— Что с Кириллом? Я как раз думал о нём. Больше месяца не знаю, где мой сын, — в голосе была мольба.

Боже мой, Боже, что делать? Как объяснить, что я понятия не имею, — это всё моя левая рука...

— Я случайно сказала, о своём думала, не знаю никакого вашего Кирилла! — И кинулась бежать.

Он пытался преследовать, бедный старик, я бежала быстрее — зелёный на переходе, стремительно пересекаю проезжую часть. Старик не успел, остался по ту сторону проспекта, светофор уже горел красным.

— Дура ненормальная! — крикнул он мне вслед.

У тебя получилось услышать глубже. Ну что, довольна, Лиза?

Ночью мне приснилась тётя Аня. Я шла по длинной дороге, по сторонам росли чудесные растения, а на них сидели яркие птицы. Я трогала листья и бутоны, и они в ответ тоненько, хрустально звенели, будто натянутые струны. Тётя взяла меня за правую руку и потянула назад. Говорила: «Лиза, не ходи дальше, обратно не сможешь вернуться!» Но я не хотела обратно, я хотела туда...

Следующий день ещё богаче на впечатления. Прикосновения становятся объёмнее.

Я сажусь в трамвай № 26. Рядом со мной сидит женщина, нестарая ещё — сорок пять, может, чуть больше, но уголки её губ так скорбно опущены,

что морщины от них пролегли почти до подбородка. Трамвай проезжает мимо церквушки, женщина провожает глазами купол и крестится. Обычно так старушки делают. Женщина прислоняет голову к стеклу и прикрывает глаза. Перчатка соскальзывает с её коленей на пол. Я подбираю и кладу обратно, попутно прикасаясь к запястью. Слышу: «Больше не могу, Господи. Отпусти уже меня». В этом голосе такие горечь и обречённость, что у меня темнеет в глазах.

У последней двери стоит мальчик-курьер, на спине здоровенный квадратный короб «Деливери», из которого на весь вагон пахнет пищей. У юноши чёрные узкие глаза, пухлые губы, лицо в розовых прыщиках. Я обхватываю поручень рядом с его рукой, соприкасаясь кожей. «Коробейник» отдергивает руку, бормочет: «Извините!» Но я слышу другое, доносящееся изнутри: «Апа, апа, Жумгалдакантипжалгызжашайсыз?» Не знаю, на каком это языке, но понимаю, что он говорит: «Мама, мама, как ты там одна в Джумгале?»

В довершение всего вечером встретила Андриюшу. Зашла в «Перекрёсток», что по пути, а магазин этот рядом с его домом. Мы расстались два года назад. Пиво и рубиться в Counter-Strike с друзьями — всё, чем он интересовался; но главное, конечно, — я его не любила... Он сам дотронулся до моей руки. Сказал «привет», но я услышала: «Лиза моя, Лиза! Как же я отпустил тебя? Милая!» Вслух он говорил что-то обыденное, улыбаясь безмятежно, как будто ему всё равно: «Может, кофе выпьем, а то встречаемся с корзиной колбасы, бананов и зелёного горошка». «И пива», — добавила я, кивнув на его продуктовый набор. Вернуться к Андриюше? Нет, нет, нет. Наскоро попрощалась и вышла из магазина. А за горошек, кажется, заплатить забыла.

Прикасаться к людям стало навязчивой идеей. Я делаю это невзначай, украдкой, — и тут же человек вспыхивает всеми цветами, будто кристалл, которого коснулся луч света. Я вижу все его грани, с каждым разом всё чётче и чище, он состоит из того же, что и вся Вселенная — в нём деревья, камни, колёса трамваев и эти провода над ними с искрами внутри, звёзды и Луна; только в каждом человеке частички нашего мира соединены неповторимо.

В сердцевине каждого есть мелодия, только я всё никак не могу её расслышать хорошенько, надо чтобы пальцы стали ещё чувствительнее. А для этого я касаюсь, касаюсь ими всего, до чего дотянусь. Я глажу спаниеля, и эта шелковистость сводит меня с ума, я различаю три вида шерсти разной толщины и мягкости, тепло его души светит мне как солнце, — она такая простая и такая горячая! Я беру в руку красный помидор и грушу вместе с ним, потому что его напители какой-то гадостью, нитратные белые волокна внутри лишают его гармонии. Но интереснее всего люди — я прикасаюсь и слышу мелодию, с каждым разом всё яснее, она вот-вот сложится в песню, я знаю, там должны быть слова или что-то ещё, наполненное смыслом, сокровенной сутью. И я не могу остановиться!

Каждый человек носит что-то в себе глубоко, очень глубоко. Глубже, чем та верхняя шелуха, скорлупки от семечек, шкурки от колбасы, фантики от конфет и жвачек... Я проникала сквозь внешние слои, и там, в глубине, есть что-то ещё более важное, о чём, может, он и сам не ведает. А я знаю! Я закрываю

глаза, шевелю пальцами левой руки, трогая воздух, и предчувствую, предсказываю тем, кто не верит в это сокровенное внутри человека! Больше всего на свете я хочу добраться до самой глубины, до самой бесконечности. Остальное неважно!

Как мне сделать мои пальцы ещё более зрячими? Как достигнуть самой сути?

Я иду по парку. Поднимаю с земли жёлтый лист с красными подпалинами. Клён. Веду указательным пальцем по его венам с тыльной стороны, снова закрываю глаза. Вы когда-нибудь чувствовали, что с изнанки лист бархатный, совсем чуть-чуть? Я верчу между пальцев его черенок, он кружит фуэте в моей руке, создавая игрушечный ветер. Перед моими закрытыми глазами большое дерево с такими же жёлтыми, жёлто-зелёными и жёлто-красными листьями. Все они дети клёна. Дети пока прикреплены к нему и пьют его сок, шелестят на ветках. Они знают его имя. Когда лист отрывается и летит вниз, вниз, вниз, он падает и забывает его. Забывает имя своего дерева. А я верчу лист в руке, и имя встаёт перед моими глазами. Прекрасное полное имя — в нём суть всей кленовости дерева от глубоких корней до самой верхушки, от коры и до светлой сердцевины, в нём и почки, какими они появляются по весне, и соки, бродящие внутри, и семена-самолётики, что в конце лета созревают, срываются и летят, кружась, как ненормальные. Ощущение клёна во всей его полноте накрыло меня огромным душистым облаком.

Я очнулась, будто до этого спала. В моих пальцах был маленький листик клёна с красными подпалинами. Я глубоко вздохнула, повертела головой и зашагала дальше. Теперь мне уже не повернуть назад — прости, тётя Аня!

Я чувствую, что готова, мозаика сложится — я услышу сокровенную суть человека. Бегом, почти лечу, до остановки, впрыгиваю в автобус. Ближе всех ко мне стоит женщина в бежево-серой куртке с засаленными манжетами. Она дурно накрашена и дурно же пахнет прогорклым маслом и лежалой одеждой. Но её руки — розовые и мягкие — зовут прикоснуться. Я глубоко вдыхаю, прикрываю глаза и, перехватив поручень, легко скольжу по её руке тыльной стороной левой ладони. Хорошо, что я крепко держусь, — обрушившийся на меня циклон подкосил колени, и я чуть не упала. Я услышала внутри себя имя, истинное имя этой женщины, и оно было столь сложным и красивым, что волшебным нектаром наполнило мой рот, кружась там самой светлой и звучной песней, сплетённой из нескольких слогов. Я приоткрыла губы, чтобы произнести это имя вслух. И тут огромное, белое, пушистое, как вихрь, схватило меня, сжало в тёплых объятьях и понесло вверх, в сторону, за пределы автобуса. И поставило наземь, не отпуская. Я разомкнула веки и увидела длинные белёсые ресницы и широко распахнутые золотые глаза на прозрачно-нежном лице. Ангел смотрел на меня с мольбой и испугом. Он похож на ангела с той картины, что висела возле моего стола в «Небесной арт-лавке», только ещё красивее.

Ангел обнимал меня руками и большими белыми мягкими крыльями и не отрывал взгляда от моих глаз. Он произнёс, волнуясь так, что голос дрожал: «Елизавета, нельзя произносить это имя вслух! Та женщина не должна слышать его сейчас. Никто не должен на Земле. Оно будет произнесено лишь однажды, когда она предстанет там перед Богом, прозвучит её истинное имя!»

Я смотрю на моего тёплого нежного ангела и хочу ответить, но во рту то самое, запретное, имя. Оно бурлит, щекочет мои щёки изнутри, оно хочет выпорхнуть наружу, быть произнесённым. Или это я так хочу его произнести, что ноги подкашиваются и перед глазами всё плывёт? Или перед глазами у меня всё плывет потому, что ангел держит меня так бережно и любовно, что я сейчас растаю, растаю, растаю...

Я говорю ему одними глазами: «Значит, я виновата? Я что-то сделала не так?»

Ангел улыбается нежно, нежно, нежно и, не отводя глаз — ведь стоит ему отвести глаза, как то самое, сокровенное, имя сорвётся с моих губ, — говорит: «Это ничего. Человек постоянно делает что-то не так. Мы уже привыкли!»

А я говорю моему ангелу одними глазами, что не могу остановиться и не произносить это имя. Хотела бы, но не могу, оно рвётся из меня. «Ты лучше убей меня, ангел, я не хочу делать то, что нельзя».

Ангел шепчет: «Я не могу убить тебя, потому что люблю тебя. Но давай я поцелую, и тогда ты не сможешь произнести это имя, и никогда ничего больше не сможешь произнести...»

Я отвечаю ему одними глазами: «Поцелуй меня, мой ангел! Я хочу этого больше всего на свете!»

Он взял моё лицо своими ладонями и приблизил к нему своё. Он приоткрыл свои тонкие губы и поцеловал так, что жар охватил меня всю сверху донизу. Я не знаю, на земле я была или на небе, пока мой ангел целовал меня. Моя левая рука забыла о жажде прикосновений и впервые за много дней повисла в забытьи. Мой ангел выпил из меня это имя, моя гортань замерла, спокойная и расслабленная, пустая. Мы стояли, прижавшись друг к другу, наши лбы соприкасались, а глаза были закрыты. Его длинные ресницы щекотали мне щёки. Мы стояли так, может, всего минуту, а может быть, вечность.

А потом он улетел. А я осталась. Он сказал правду: с того момента я больше ничего не могла произнести. Ни слова, ни звука. Слова и звуки живут в моей голове, но не выходят из моего рта. Из моего рта выходит только беззвучное дыхание. Только бесшумный ветер. Я стала как сумасшедшая... Самой смешно. Мне так и говорят: «Лиза, ты не в себе!» Я хожу, и прикасаюсь ко всему вокруг и к каждому, и слушаю их песни, которые сокрыты ото всех, кроме меня. Теперь я знаю: одно прикосновение может вместить в себя жизнь и смерть. Я трогаю человека за руку и слышу имя, единственное настоящее имя, которое там было дано его душе при рождении. Я плачу каждый раз от этой красоты неизреченной, от этой божественной музыки. Каждый из них в моих глазах неотразим, когда сверкает совершенством своего настоящего имени. Это имя я не могу записать на бумаге. Глупо и пытаться. Эти имена живут лишь у меня внутри.

Иногда люди от меня шарахаются, иногда бьют по рукам, но чаще — смотрят подозрительно и отворачиваются. Думают, я странная, ненормальная. Думают, я просто так хожу и всех трогаю. Если бы они знали! Если бы они знали, какие прекрасные и светлые у них имена...

Елена Чайка

Жить на краю

* * *

В утробе февраля темно и мрачно:
Ритмичный хруст, гул соков в клетках поля.
Ворочаются в створках влажных почек
Слова
И ноют, ноют.

Младенческое белое бессилье
Так тихо перед новым поворотом,

И кто ты
Человек или цветок?

Никто ещё, никто —
Немая вечность.
Проклунешься и будешь человеческим —
Расти-цвети, тянись на Восток.

* * *

Здесь другая Россия, такие дела.

Солнце натягивает удила,
Запускает шум моря, включает чайк.
Времена года сместились, не подчиняясь календарю.

Елена Чайка (Киселёва Елена Сергеевна) — родилась в 1991 году в г. Владивостоке. Окончила в 2015 году Дальневосточный федеральный университет по специальности «архитектор-дизайнер». Участник международного форума молодых писателей России и стран СНГ «Липки» (2021, 2022 и 2024). Публикации в альманахе «Литературный Владивосток», в журналах «Байкал», «Наш современник», «Аврора» и др. Автор сборника стихов «А море мимо» (Таганрог, 2021). Финалист фестиваля поэзии «Филатов Фест» (2021, 2022). Живёт во Владивостоке. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Жить на краю —
Балансировать на краю.

И ты не поймёшь, почему и люблю, и ненавижу одновременно
Эти скалистые стены, прибойную пену и ветер,
Который приходит и борется с нашим восточным бризом.

Впереди ничего, ничего, неосвоенная земля,
Где история превращается в мифы, а то и сказки.
Так далеко и культура, и государство...
Всё это там, в учебниках, в сериальных переворотах,
А здесь не дом, а работа — временная забота.

И всё здесь временное, вневременное:
Земля чжурчжэней, земля Бохая,
И мы ещё ищем старые сваи, помним старые имена:
И Шамора, и Пидан, и Фалаза, и Тачингоуза.
Молодая земля, неприрученная земля.

Очередное поколение переселенцев:
Слабые корни,
Морское сердце.

Уехать или остаться?

* * *

Меня миновал огород.

У меня не было этого кусочка земли,
Который я могла бы считать своим,
Год за годом доить по осени, вспарывать по весне...

Меня выкормил город.

Я хрустела его бетоном,
Асфальтом, камнем,
Запивала морем,
А в марте
Глядела на ильмы,
Ещё не покрытые дорожной пылью,
Ждала почек и зелёного взрыва следом.

А соседских детей увозили сажать картошку,
Удобрять малину,
Приобщали к труду, прививали к грядкам,
Тяпкам и ржавым бочкам,
В которых жили личинки.

Дети слушали,
Как растёт трава,
Как говорит сова,
Наблюдали, как танцуют пылинки в свете сарая,
И хоть ненадолго, но забывали бетон и камень.

Земля в полимерной накидке прела и мокла,
Дети выросли, сеяли семена,
Прорастали в собственных детях,
Приобщали их к таинству грязи животворящей...

Даже сейчас,
Когда уезжаю из серых волокон города
В лесную чащу,

За внутренним голосом,
За речной песней,
За птичьими голосами,

Я слышу
Бетон и камень,
Бетон и камень.

* * *

Два года мысленных диалогов,
И поэтому при встрече
Молчу.

Я люблю память о тебе
Больше тебя.

Так любят нерезкий потрёпанный снимок,
Который цепляют на холодильник, —
Воспоминание, выхваченное из темноты:
Застывшие улыбки,
Свет.

Адольф Шапиро

Замри. Расставания и встречи

Главы из будущей книги

Таинство

Видеоискатель «Агфы» устроен так, что надо смотреть сверху вниз для лицезрения природы. Вернее — фигурозрения. Крупный план — не для этого фотоаппарата. Однако я гордился трофейной штучкой, словно лично отвоевал её у немцев. Величина кадра 6х9, а не какие-то жалкие 6х6 отечественного «Любителя», по слухам переделанного из другой германской модели.

Благодаря этому аппарату я прикоснулся к тому, чем буду постоянно заниматься: отношениям реальности и её отображения. Со стороны, наверное, казалось, что мальчик счастлив возможностью щёлкать желающих запечатлеться. На деле выбор выдержки с помощью бумажного экспонометра и «птичка вылетает» — дело десятое. Иное — таинство рождения отпечатка.

Красный фонарь размывает очертания коммунальной кухни, двери которой плотно завешены одеялом. Соседям и во сне не приснится, что здесь происходит. На бумаге, плавающей в проявителе, медленно возникают люди. Можно их вынуть, аккуратно потереть пальцами, и тогда они поторопятся. К каждому хотелось прикоснуться рукой, чтобы удостовериться в новом рождении. Узнавая их, я радовался так, будто сам всех их создал.

Они похожи на себя, а всё же другие. Игра света и тени, неожиданный ракурс, прерванное движение — выявляют что-то невиданное в тех, кого вроде бы хорошо знаешь. Знакомые незнакомцы, незнакомые знакомцы будоражат воображение. В момент съёмки в полной мере не оценишь, как много содержания, скрытого от посторонних глаз смысла таит короткий миг жизни: мимолётный взгляд, жест, прерванный шаг, поворот головы, улыбка.

Шапиро Адольф Яковлевич (родился 4 июля 1994 года в Харькове, Украинская ССР) — театральный режиссёр, драматург, педагог. В 1962—1992 гг. возглавлял Рижский молодёжный театр. В 1990 г. был избран Всемирным Президентом Международной Ассоциации театров для детей и молодёжи (АССИТЕЖ), с 1994 г. — президент Российского центра АССИТЕЖ. С 1993 года работает как независимый режиссёр и театральный педагог. Ставил спектакли и вёл мастер-классы в России, Китае, США, Франции, Греции, Италии, Израиле, Бразилии и др. странах. Лауреат многих театральных премий, в том числе Международной премии им. К.С.Станиславского и Премии Москвы в области литературы и искусства. Почётный доктор Шанхайской театральной академии. Автор книг «Антр-Акт» и «Как закрывался занавес» (премия журнала «Дружба народов» за лучшую публикацию года). Постоянный автор «ДН».

Книга готовится к публикации в издательстве «Новое литературное обозрение».

С проявленными мною людьми я предельно осторожен. Вдруг рассердятся? Одно неловкое движение — и навсегда исчезнут.

Извините, я выброшу этот отпечаток в корзину. Надо вытянуть свет, которого маловато на негативе. Ещё нужно опустить увеличитель пониже, укоротить кадр, убрать всё лишнее, попавшее в него помимо моей воли. Ну вот, осторожно вынимаю вас пинцетом из проявителя, перемещаю в ванночку с водой и потом в закрепитель, ну да, в фиксаж. Теперь вы навсегда останетесь такими, какими попали в объектив моей «Агфы».

Прикрепить снимок прищепкой к верёвке, а когда просохнет, — под пресс. Затем резакром придать краям фотобумаги ажурный узор. Готово!

Я подарю вам самих себя такими, какими вы себя не видели.

Дядя Павлуша

Статный мужчина с орденом Боевого Красного Знамени на груди — Павел Александрович Иванов. Снимок сделан накануне свадьбы с моей тётёй. Мы с братом звали нового родственника дядей Павлушей. Он прошёл войну разведчиком, любил рыбалку, салат оливье и был назначен (как у нас говорят, избран) секретарём горкома партии. Жил в центре на тихой улице в особняке с садом и высоким забором в окружении любимой семьи и Полного собрания сочинений Сталина. Когда поползли слухи о необходимости отделения этого вождя от другого и о намерении поместить его в тени мавзолея, дядя дал телеграмму в ЦК с просьбой присутствовать при захоронении. Ещё не всё. Наш Павлуша не одобрил ввод танков в Прагу и стал писать Брежневу, объясняя генсеку, что для спасения дела партии и её репутации тому надо покинуть пост. Доводы подкреплялись цитатами из классиков марксизма.

Он чудом избежал психушки, о существовании которой гражданину Иванову напоминали всякий раз, когда вместо ответа беспокойного корреспондента вызывали туда, куда доходили его письма. Ясное дело, он уже не работал в горкоме, а излагал политэкономии в торговом техникуме.

«Не пишет», — однажды с облегчением шепнула тётя.

«Дядя Павлуша? Почему?»

Ответ был чист, как слеза ребёнка: «Я на пенсии. Сейчас это уже будут письма пенсионера».

Каждый день из тех месяцев сорок седьмого года — когда отец, потеряв работу, пытался куда-нибудь устроиться, — заканчивался одинаково: «Отказали».

Потерял работу... Так тогда выражались, и папа действительно испытывал нечто вроде стыда, будто сам повинен в потере. В ответ на расспросы соседей и приятелей он как-то виновато улыбался... Кроме болевого порога есть и порог понимания. Приходит миг, когда бунтующий мозг уступает место допуску: возможно, ты что-то сделал не так? Отец был угнетён и растерян. Готов был стать к станку, работать токарем, слесарем (владел ремёслами), а его журили, как несмышлёныша. Дескать, вы шутите? Как возможно? Вы инженер, автор множества рационализаторских предложений и изобретений, — и токарем...

Был растерян (но не угнетён) и дядя Павлуша. Выяснилось, что, занимая ответственный руководящий пост, он ничем не может помочь родственнику. Сейчас думаю, что оказался слишком честен и оттого не числился в списке допущенных к знакомству с тайными указаниями. Павел Александрович наводил справки, советовал отцу, куда пойти, где требуются люди по его специальности.

Днём: «Да, очень нужны, заполните анкету...»

Наутро: «Вы опоздали, на это место уже взят человек».

Что криминального в анкете Якова Львовича Шапиро?

Об этом коммунисты с человеческим лицом друг с другом не говорили. Папа стеснялся, а дядя знал: Лазарь Моисеевич Каганович — член Политбюро! И этот факт был для него убедительнее мещанских слухов и пересудов.

Вдвоём

У папы были большие тяжёлые ладони и добрая улыбка.

Он любил маму. Совсем любил. Когда она уже редко выходила из дома, порой удавалось уговорить отца пойти прогуляться. Метров сто, и он поворачивал обратно: «Ируся одна!»

С трудом вытянул его в Махинджаури, где снял для нас с ним и дочки летнее пристанище у библиотекарей ботанического сада.

В это редкое место обязательно везли туристов с круизных теплоходов, делавших короткую остановку в Батуми. Большинство из них были предельно укачанные после вчерашнего вечера. Многие почему-то представляли, что сад зоологический. С горы доносилось: «Маня, не поднимайся, тут то же самое».

Я уже знал приёмы того или другого экскурсовода. Одна, заметив зевки, тут же сообщала, что основатель сада Краснов — брат белогвардейского генерала... да, да, того самого, что заходил с немцами на Украину. Сразу расспросы, не об учёном, о братце... «А его расстреляли?..» Не хуже действовал окрик: «Осторожно, растение ядовитое!» Моя любимица, завершая рассказ об очередной диковине, неизменно спрашивала: «Товарищи, по этому дереву есть вопросы?»

Но отец ушёл в себя, ни на что не реагировал. А когда зарядили ливни, затуманивающие очертания не только бухты, но и близких кипарисов, папа совсем приуныл. Стоял в проёме двери деревянного домика и с тоской глядел в ту сторону, где, по его мнению, находились Харьков и мама.

Нетрудно было представить, что в этот же час мама сидит у окна и смотрит в ту сторону, где ей мнится Батуми. Но не исключено, что рассказывает соседям о своём муже, каким авторитетом пользуется на службе, не забыв вскользь упомянуть, что он член партии. И верно — даже по фотографиям семейных торжеств ясно, что это был редкостный блок партийного с беспартийной.

Вцепиться друг в друга, очертив круг, в который допущены лишь близкие друзья, — старосветский, но далеко не худший из способов спасения в стране, строящей новый мир...

Всматриваешься в маленькое, явно сделанное для документа фото отца на письменном столе. Возможно, снялся для поступления на рабфак? Какая вера в людей и страну — страшно! Он не подозревает, что его ждёт.

В жизни, как в театре, творить из сказки быль — опасно. Обретая реальные черты, сказка теряет притягательность, в остатке — фальшь и уродство.

Спектакль можно не досмотреть, выйти из зала, а они не могли, самое удивительное — не хотели. Им, переходящим в нас, нравилось слышать, что рождены они не для постыдного благополучия, а для великого дела объединения народов в одну семью (как объединились, так и разъединились, простите).

Всеми верить — глупость хороших людей. Оттого и хорошие, что верят. Оттого они жертвы не верящих ни в Бога, ни в чёрта.

Кто поёт, что и на Марсе будут яблони цвести?

Вполне возможно. И яблок будет навалом. Вроде тех румяно-золотистых, одно из которых чернавка кинула пробудившейся царевне.

Два приезда

1965 год. Два рака (по гороскопу) ползли по пыльным харьковским улицам. Они искали дом, в котором родился один из них. Вышли на булыжную Черноглазовскую. В детстве в названии улицы мерещилось что-то зловещее, хотя, возможно, в нём обыгрываются те самые очи, что воспеты во множестве песен.

Не доходя до крутого спуска, свернули направо.

Лет двадцать назад я писал о том, как Эфрос проронил: «Тут», — и лицо замерло, вытянулось и затем разгладилось. (Ныне тут мемориальная доска.)¹ Он погрузился в себя, как часто говаривал, до доньшка. Казалось, волны где-то там, на поверхности, а на самой глубине — человек в скафандре прошлого. Осознал его невозвратность — и обрёл свободу.

Хотелось бы видеть своё лицо, когда я в 2010 году стоял у дома, в котором вырос, и, запрокинув голову, глядел на окна, стараясь восстановить до мелочей всё, что когда-то было за ними. Ушли мои родители, ушёл и Анатолий Васильевич Эфрос. Теперь уже меня настигла парализующая ясность.

Другая страна, и дом другой. Единственное, что осталось от былого, — чудом сохранившийся тент над нашим балконом. Отсюда мы с братом Валериком внимательно обзрели двор. Первый появившийся в нём товарищ — довод поклянчить у матери разрешение: все уже давно гуляют.

Тент — звучит изысканно. Навес. Отец смастерил его из какого-то плотного гофрированного материала. Сам по себе светлый, он не пропускает солнечные лучи, так что вот уж сколько лет дарит новым жильцам тень и прохладу.

В остальном же — годы, как волнорез, сделали всё, чтобы приглушить накат сентиментальности. В первый этаж фасада врезались чужие мастерские. И — мощный удар: вместо всегда, даже зимой, плохо затворяющейся двери — железная с кодом. Она намертво закрыла мне вход в подъезд моего детства.

У меня не было намерения подниматься на четвёртый этаж к квартире 42. Каждый лестничный пролёт, каждый поворот, каждую выщербленную ступеньку отчётливо помню. Однако одно дело — не собирался, совсем другое — нельзя! Только для своих!..

Вдруг представился железный занавес, что отделяет зал от сцены или, если угодно, сцену от зала. Но с ним я свыкся. Как и многих режиссёров, меня соблазняла возможность использовать этот занавес в спектаклях по кровавым шекспировским хроникам или в обличительных пьесах Брехта. А вот неизвестный код... Нечестно! Нельзя закрывать дверь в подъезд, который мне принадлежит.

Вспомнил оторопь, которую испытал в бассейне Гарвардского университета, услышав от дежурного: «Вас нет в системе». Как так, я долгое время преподаю, каждый день плаваю, ещё вчера утром... Оказывается, — срок пропуска истёк: «Компьютер показывает — вас нет в системе».

Побрёл назад, заглянул в университетский парк. Как нарочно — солнечно, птицы. Белки, не наши рыжие, а сизые бостонские, провожают меня любопытными взглядами. Им невдомёк: я смущён не выпадением из системы, а тем, вот новость, что хотелось пребывать в какой-то системе.

В Харькове белки в парках отродясь так вольно не разгуливали, были, как и народ, пугливы. Зато до сих пор красуются на конфетных обёртках, в детстве

¹ Дмитрий Крымов, сын Анатолия Васильевича, рассказал, что доску, на открытии которой он был, после начала военных действий сняли.

именуемых фантиками. Нисколько не изменились с той поры, когда подброшенный фантик накрывал другой так, что нижний не слудть, и тот переходил к тебе. Ими можно было расплачиваться, и они подлежали обмену.

Когда-то карманы пухли от «Мишек» на льдине и в бору, «Раковых шеек» и «Гусиных лапок». И сегодня они, как раньше, соблазняли в той самой кондитерской на Сумской улице, где ты окунался в мир сладостного детства, как в тёплый пруд.

Ну точь-в-точь русский магазин в Пенсильвании, где я на радостях набрал гору леденцов. Там ностальгирующих завлекало объявление: «У нас есть огуречный рассол на похмелку». Кассирша, оценив то, что я взял кроме «Нашей сметанки» ещё и «Бычки в томате», прожурчала на ухо: «Мы вчера получили сердца четырёх. Не хотите?» Понадобилось время, пока я усёк, что мне предлагают ещё один советский деликатес: кинофильм «Сердца четырёх».

Я его помню хорошо, как и названия кинотеатров, улиц, площадей. Но они переименованы, троллейбусы идут по другим маршрутам, нет детской парикмахерской, где на стенах красовались картины на сказочные темы. Количество догоняющих жертву волков наводило ужас посильнее жужжания парикмахерской машинки. Исчезло и кафе, где краснощёкие официантки вместе с пломбиром в алюминиевых вазочках приносили сифон газировки с крушоном. Туда принарядившиеся, как на бал, горожане отправлялись в воскресный вечер провести времечко.

У памяти, этого сварливого существа, глаза на затылке, смотрят исключительно назад. Но что поделать, нельзя же не заметить рекламу — «Пиво твоей Батьківщини» (то есть твоей Родины) — и то, что исчезло здание Театрального института. Десятилетиями оно было местом отдохновения видных деятелей украинской и русской культуры. Ныне на этом месте тупой асфальт.

P. S. Какая-то неведомая сила влекла меня прийти к родному дому ночью. Может быть, чувствовал, что больше не увижу. Сквозь оконные переплёты подъезда виднелся тусклый свет на лестнице. Совсем такой, каким он был всегда. Потом узнал: дома детства уже нет. Снесли. Спустя несколько лет стало известно: на месте нашего дома выстроен храм¹.

Un cappuccino, per favore!

Римини — городок, каких много. Зачем стремился сюда? Для чего всматриваюсь в дома? Лучше сесть в кафе и взять капучино. Напрасно брожу по городу в поисках того, что видел на экране. Тут всё чужое, а в «Амаркорде» — моё детство в романьольском варианте.

Типы другие, но парады, шпики, дворовая шантрапа, явление вождя народу, первый снег... Гризетка, будоражащая воображение Федерико, — наша «историчка». На её уроках никто ничего не слышал. Все смотрели заворожённо на пышную грудь, которая располагалась на столе рядом с классным журналом. А когда в классе властвовала худющая Зиночка, учительница литературы, мы уносились куда-то далеко-далеко. На декабрьский Сенатский плац, в Тамань с контрабандистами, да куда угодно, на тот же Кавказ. Слушая её, мечталось об одном: не оказаться «лишним человеком».

Как тому юному итальянцу из фильма, мне мог привидеться на улице павлин на снегу или бык в тумане. О чём-то я ведь грезил, шагая в лютый мороз из школы без пальто? Мама открыла дверь и всплеснула руками — грабители! Ничего подобного: просто не заметил, что забыл одеться.

¹ Каждый год собирался поехать показать его сыну. Опоздал. Теперь, после специальных событий, видимо, уже — никогда.

Обо всём этом я вспомнил не на родине итальянского режиссёра, а на берегу Кинерета — Галилейского моря, по которому Он шёл аки посуху. Оставалось лишь восхищаться и завидовать служившему там священнику греческого православного храма, с которым меня познакомил друг. Мы любовались закатом, пили вино, и я старался меньше говорить, больше слушать. И ещё смотреть, как рядом с нами на раскидистом дереве располагались на ночлег павлины, нарушая благословенную тишину пронзительными криками.

А в Римини похоже кричали британцы и японцы, разрезая густоту южной ночи хвастливыми, яркими вспышками «Кэнонов» и «Никонов». Они наводили объективы на стены древней крепости, чтобы по возвращении на острова посмотреть, где же всё-таки были и что видели. Слепцы — как и я, — они решили на денёк заглянуть к Феллини.

Смотрите кино!

Un cappuccino, per favore!

На премьере

Первое действие пятилетний сын высидел в зале. На второе, устав от незнакомой речи, идти отказался. Ничего не оставалось, как взять его с собой, сначала к радисту, а потом за кулисы. Перед окончанием спектакля израильский рабочий сцены заверил: не волнуйтесь, можете спокойно выходить на поклон, я присмотрю за маленьким. Всё как всегда: ладоши о ладоши, цветы, поцелуи... И вдруг откуда-то голос: «Папа, а где мама?» Оглянулся — со мною рядом на сцене... Арсений! Тут-то, в стране, в которой невиданный культ детей, и грянул сногшибательный обвал аплодисментов (кроме вековых семейных традиций, как мне пояснил один мудрец, это ещё и результат новейшей трагической истории: «Кто может сказать, что их ждёт?»).

Я, единственный из всех, кто находился в зале и на сцене, растерялся. А сын вполне освоился. Не дождавшись ответа, нисколько не смущаясь, он сделал шаг к авансцене и обратился в зал: «Мама, где ты?»

Где ты?

Где бы моя мама ни была, с кем бы ни встречалась, мгновенно налаживала контакт с окружением. Бог наделил её талантом лёгкого контакта с людьми, и те с благодарностью отдавали Ирине Григорьевне должное. Не помню, чтобы она с кем-то ссорилась. По-своему удивительно: в маминой манере общения — в подчёркнуто выразительном произнесении слов и преувеличенных реакциях на события — сквозило много театрального, но вот — однако.

Заслышав колоратурное сопрано, призывающее меня и брата идти домой и садиться за уроки, тут же из других окон и с балконов начинали звучать меццо и контральто, загоняющие своих детей «немедленно домой».

Тайна её лидерства осталась для меня тайной. Ни властности, ни претензии на первенство, но она притягивала к себе людей. Соседки шли к ней охотнее, чем в Комитет советских женщин. С жалобами, за помощью, за советом. Принимать ли лекарство, которое выписал доктор? Продолжать ли дочке учиться или искать работу? Не много ли уксуса в маринаде? Что говорить о семейных консультациях, когда чей-то бегемот в очередной раз после полочки проваливался в болото.

От возможности помочь она получала удовольствие, как актёр от дыхания зала.

Перебивались от зарплаты до зарплаты, но, когда соседка заходила одолжить трёшку, мама спрашивала, может ли та подождать минут пятнадцать? Время требовалось

не для того, чтобы достать схороненные сотни. Спускалась этажом ниже, одалживала трёшку и вручала её Лиле, извиняясь, что не сразу. Та, похоже, догадывалась, откуда деньги, но таковы были правила игры жильцов подъезда, всего послевоенного роя. Отец иронизировал по поводу советов, которые мама раздавала по телефону, сердился из-за срочных вызовов к соседям. Возможно, даже слегка ревновал. Но гордился, определённо гордился. Его Ируся для всех незаменима — «скорая помощь», кулинарная книга и третейский судья.

Среди лепящихся к ним попадались случайные. Почему тянулись сюда, что общего? Разве что — у нас им было спокойно. Кого-то из них, по-моему, завмага, арестовали, его дружки-тузы слиняли, догадайтесь — кто носил ему передачи?

Что говорить о родительском участии к невинно пострадавшим. Нет, это не сопротивление — импульсивное противостояние жестокости.

Диктат государства, которое людям шагу не давало ступить по своей воле, бессознательно компенсировался тягой к общности. Одно, одно... Мама и её подопечные к бедам относились как к чему-то естественному. И это — беда. Спасение (как иначе выжить?), но беда. Она передалась каждому из нас.

«Мы диалектику учили не по Гегелю...» Жаль, та, которую отец изучал для сдачи партминимума, — утеха рабов. Хозяева учили их утешаться диалектикой как умением всё объяснить и всё оправдать исторической необходимостью. Смирение, принятие навязанных условий бытия вызывают злость, обиду на них и за них.

Состав вот-вот подадут, остриженных пацанов набьют в вагоны и отправят служить. Крики, плач, мат, гармошка, смех и слёзы, водка из горла... Родители пытаются узнать — куда. Какой-то сердобольный майор открыл маме: всю партию новобранцев, с которой уходит брат Валерик, отправляют на Дальний Восток «в Морфлот» — значит, не три, а четыре года службы.

«Забирайте сына и, пока есть возможность, линияйте отсюда (ну, стало плохо с сердцем). Не страшно, получит в военкомате втык, а через неделю уйдёт со следующей партией, но уже в полевую часть, и недалеко», — подсказал нам реальный офицер.

Отец молчал (наверное, предвидел ответ), а я пытался изо всех сил убедить маму последовать здравому совету. Бесполезно. Слышать не желает, нет, и всё тут... В результате брат прослужил на Русском острове не четыре, как положено по закону, а почти пять лет. Просто не отпустили раньше.

Много слёз она пролила. Можно ли жить честно в бесчестном государстве? Можно, но очень, очень, очень трудно.

Жест

Если бы кто-нибудь сказал, что мама, прожившая с отцом более пятидесяти лет в любви и согласии, не поедет к нему в больницу, не поверил бы. Она вела странную игру с собой. Так гнала мысль о его уходе, что со стороны чудилось — не осознаёт происходящего. Мы с братом, возвращаясь от врачей, старались подготовить её к худшему, но она словно не слышала.

Отец десять дней находился в забытии. Лишь однажды открыл глаза и, глядя на меня, спросил: «Ты ел?» Это были последние слова, что я слышал от него. Случилось ночью. Мы решили не сообщать маме до утра, представляя, какой день ей предстоит. Дождались рассвета, позвонили к ней в квартиру. Открыла дверь, увидела нас...

Казалось бы, — ясно, мы замерли в ожидании её реакции. Однако не всё, как в театре. Ни крика, ни всплеска рук, ни ожидаемого жуткого — ЧТО? Увидела нас,

Анатолий Цирульников

Миграция

Моя 25-летняя дочка рассказала, что была на свадьбе у 23-летней подруги Надежды, которую нынче зовут Аделинда. У нее теперь 37-летняя жена, с которой они жили и до этого. Свадьбу вел по Zoom'у распорядитель из Америки, было много гостей с обеих сторон, пришла и мама подруги. Бракосочетающиеся были в пижамах, в отличие от ведущего, который предстал при полном параде. Все было здорово организовано, рассказывала моя дочка, слава богу, вышедшая недавно замуж за молодого человека, айтишника, и уехавшая за ним в Грузию. Веселая свадьба по-американски российской студентки Нади-Аделинды, коротко стриженной, с ежиком на голове, выкрашенным то ли в зеленый, то ли в красный цвет, и ее 37-летней невесты, тоже с родителями — пир накануне, возможно, чумы. 80 миллионов мигрантов за два года только из трех стран мира, включая Украину и Сирию, потоки беженцев и переселенцев, эксперименты в разных видах искусства, в театре, литературе, глобальная цифровая трансформация в контексте шпионажа, доносов, взрывающихся беспилотников — что это все напоминает? Акунинский¹ кинороман с масками «Дети луны», поставленный на сцене жизни подростками? Серебряный век с изломами стиха и кисти, эпоху импрессионизма и Пикассо, предсказывавших и вламывавшихся в новое?

Начало XXI века в чем-то повторяет начало XX. Наше столетие не копирует предыдущее, скорее собирает в иной композиции фрагменты предшествующего опыта, разбросанные в истории; ведь это уже было: остров Лесбос, венецианский карнавал, кошмарные войны, потоки беженцев и переселенцев, опасные изобретения и открытия, неистребимая жажда нового...

Тема миграции — неотъемлемая часть общей картины истории и не может быть понята без нее. Какие тектонические сдвиги рождают это явление? Что толкает отдельного человека на те или иные поступки, совпадающие с общим вектором или прямо ему противоположные?

Точно не помню, когда именно пришла мне в голову эта тема. Вероятно, после отъезда младшей дочки, которую я очень люблю, с которой прожил счастливую жизнь в ее детстве. А когда она выросла, с ней повторилось то же, что некогда со старшей, — она уехала в другую страну.

Цирульников Анатолий Маркович — ученый и писатель, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник Федерального института развития образования РАНХиГС и страстный путешественник. Вот уже много лет его очерки в «ДН» позволяют нашим читателям не только странствовать по самым отдаленным уголкам России, но и знакомиться с самыми разными системами и новациями в педагогике.

¹ Минюстом РФ внесен в перечень экстремистов и террористов, объявлен в розыск и заочно арестован как Григорий Чхартишвили.

В это же время мы с женой начали процедуру репатриации. Инициатором был я, потом под влиянием происходящего передумал, засомневался, стал выяснять, советоваться, оценивать риски, но в конце концов мы прилетели в Бен-Гурион и получили гражданство.

Израиль в этот раз был как-то по-особому ласков. Даже январское новогоднее море не было холодным, а солнце несколько часов грело, как весной, не обжигая. Я почувствовал себя как дома первый раз за многие годы моих поездок в Израиль...

Когда мы возвратились назад, я понял, что хочу понять страну, ее историю и культуру, говорить на ее языке, и стал читать книги по истории, Тору на русском, изучать язык, чтобы хотя бы почувствовать его дух, смысл, синтаксис, структуру...

И начал свои записки. Вначале «библейские», потому что понял: те, вышедшие из ковчега после Всемирного потопа, и были первыми мигрантами. И не только они — саха-якуты, двигавшиеся в нынешнее место своего обитания из западной Монголии в период войн Чингисхана по старым монгольским дорогам, на плотах по Лене, с семьями, со скотом; предки калмыков — ойраты, или черкесы-адыгэ, из своих сожженных во время русско-кавказской войны аулов, сброшенные в море, доплывшие до Турции и потом рассеявшиеся по всему свету, — все это мигранты. Миграция началась не сегодня. Она как река с притоками: один входит, другой выходит. Своеобразное зеркало, через которое можно взглянуть на человечество.

И еще. Углубляясь в культурно-исторические пласты, я понял, что этого недостаточно. Что нужны личные истории разных людей, по каким-то причинам и обстоятельствам оставивших прежнее место обитания и ищущих, и находящихся новое. И что надо записать их истории.

И, осознав это, я понял, что нашел тему.

* * *

Откуда я брал героев своих записок?

Вылавливал из собственной памяти. Но этот ручеек быстро иссяк. А я чувствовал, что это река. Но как в нее войти? Обратился к старым добрым знакомым с просьбой помочь связать меня с разъехавшимися по свету, не только в последнее время, соотечественниками. Благодаря им и далее по цепочке я переходил от одного человека к другому. И так, к своему удивлению, мне удалось за относительно недолгий срок записать очно и заочно шестьдесят личных историй людей (не хочется называть их мигрантами) из двух десятков стран.

Но начну издалека.

Русские, евреи, американцы

Последний белогвардеец

— Вы москвич?

— Да.

— Москва сохранила певучий говор.

— А у вас какая речь! — восхищаюсь я. — Сейчас такой не услышишь. Давно в Москве не были?

Он смотрит на меня ясными голубыми глазами.

— С тысяча девятьсот семнадцатого.

Разговор этот происходил в декабре 1991 года в Русском генеалогическом обществе в Нью-Йорке. Собеседник, Вадим Петрович Крюков, представился мне так: «Последний белогвардеец».

Довольно бодрый, гладко выбритый, отчасти даже сохранивший выправку. Другой мой собеседник — князь Щербатов, вице-президент Русской академической группы¹ — тоже из тех времен. По случаю знакомства ветеран армии Врангеля разливал в высокие бокалы старое французское вино. Князь замечает: «Вот... уезжали из Петербурга и вернулись в Петербург» (он имеет в виду конгресс соотечественников, открывшийся в том году в России).

Эмиграцией теперь никого не удивишь, но встретиться с представителями первой волны особенно интересно: с Трубецкими, Шереметевыми, Голицыными, Хлебниковыми, Хомяковыми, Родзянко... Большинство говорит с акцентом, но по-русски. Их праправнуки еще ходят в Свято-Сергиевскую гимназию, что между 9-й авеню и 82-й стрит, это как воскресная школа. Гимназические журналы не тронуты временем: те же виньетки, пасхальные приветствия, ученические стихи...

Русских школ, университетов было немало в 20—30-е годы по всему свету. В Афинах, в Париже, в Сан-Паулу... Существовали Международное педагогическое бюро, разные «белоэмигрантские» союзы — русских инженеров, кооператоров, земледельцев... Надеялись: рано или поздно России потребуются интеллигентные квалифицированные силы в большом количестве. Разоренная и обездоленная, она будет искать их повсюду.

Теперь остались только архивы и какие-то общества вроде этого — с папками родовых гербов и двуглавым орлом, распластанным на стене. В домах — старинная мебель, портреты, фотокарточки. Мне показывали: «Это отец моего деда, адмирал Небольсин, во время Цусимы он спас “Аврору”». Стоило ли? «Это моя бабушка в молодости, княгиня. Ее расстреляли, когда ей было восемьдесят два года, в тысяча девятьсот двадцатом...»

Последние белогвардейцы, старики, как ни странно, мягче, снисходительнее внуков и правнуков. Те эмоциональней, резче.

Чем они могут нам помочь? Открыть кадетский корпус в Лефортово? Или школу подготовки сантехников со знанием французского, как предлагал председатель Союза русских инженеров из Парижа?

На Рождество по русскому обычаю в домах собирается много народу. Тут услышишь слова, в России нынче редкие: «милостивый государь» или «не изволите ли». Молодоженам подносят на блюде рюмки и поют венчальную. На одной такой вечеринке я увидел весь свет: князя, очаровательные княгини, адмиралы, графы. Компания оказалась пестрая. Пили, пели, делились мечтами-планами. Какие у них в отношении нас планы? Конечно, хотели бы помочь, но надо иметь в виду, что в большинстве своем они, по американским меркам, люди небогатые. Сами себя вытащили за волосы, но русская ли это черта или эмигрантская? Мы вот все хотим, чтобы кто-то нас вытащил.

Да, и еще. В разгар вечеринки раздался звонок в дверь, и вошел... внучатый племянник государя императора. Меня подвели к нему. Длинный такой, совсем не старый. Я стоял рядом и все думал, о чем бы его спросить. Наконец додумался:

¹ Русская академическая группа представляла собой объединение российских деятелей науки и культуры, живущих в США, которое имело своей целью сохранять и развивать русскую академическую науку.

«Простите, а у вас какая профессия?» Он ответил высоким голосом: «У меня нет определенной профессии», — и посмотрел на меня как на идиота.

Ну да, глупо. А о чем еще спрашивать?

Дым отечества

Первые слова, которые я услышал от дочки в аэропорту Бен-Гурион:

— Тише, не говори по-русски. И не кури, пожалуйста, этих сигарет.

Ах, этот едкий дым отечества! В Америке по нему один меня вычислил и громко продекларировал: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Я возмущаюсь: вот тебе твой Израиль... А ее ли он?

Последняя на тот момент алия (начала 90-х) — исход из бывшего Союза, полмиллиона человек за два года — самая большая в истории Израиля. Ее составляли не сионисты и диссиденты, а обыкновенные люди, впервые получившие право выбора. Дался он им непросто, и объяснить, почему они так сделали, многие не могут.

И вот приехали. Нормального жилья пока нет, только 17 процентов работают по профессии, кандидаты наук подметают улицы... Эмиграция никогда не была сладкой. Но *эта* ведь называется «репатриация», возвращение на родину, в свой дом. Почему же он не слишком приветлив? Почему люди стесняются своего языка, истоков... Может быть, Вика драматизирует — все-таки двадцать лет, молодо-зелено? За год она стала совершенно взрослым человеком. Как и ее девятнадцатилетняя подруга. «Хотели найти тут родину, — сказала она, — да не получилось».

Но и обратно не загонишь. Растет особое поколение: ни там, ни здесь. А программа жизни до удивления проста, психологи-консультанты ни за что не догадаются: «Нужны две вещи: иврит и деньги».

В рассуждении молодых есть логика. Почему к вновь прибывшим «олимам» в быту относятся прохладно? А как бы отнеслись в России к вдруг нахлынувшей массе людей, в общем-то без средств, которые называют себя русскими, при этом по-русски не говорят ни слова и чего-то требуют? Вот заговорят, встанут на ноги...

Нормально это или нет? Смотря чем мерить: еврейской историей, высокими идеями сионизма или реальным бытом и бытием, вечной судьбой эмиграции, которая ломается, проламывается, врастает... Прибывшим в Израиль дают анкету, один из вопросов: «Сколько раз в день тебя знобит, проступает холодный пот?» В первые дни многие недоумевают, смеются. Поздней начинают понимать.

И это притом, что нигде в мире репатрианты не получают столько законных благ¹. Но абсорбция происходит не столько в официальных учреждениях и службах, сколько в жизни, к которой никакое учреждение не подготовит, смягчит — да, но все равно будет жестко и больно. Обыденность не укладывается в схему. Бывает и весело. Звонят в дверь. «Здесь живет Моше? Я пришел отдать долг — эти деньги мой дед брал у вашего деда в тысяча девятьсот двадцать шестом году».

Одни соседи относятся к тебе как к «дочке». А другие смотрят, как на нахлебницу. Принимая на работу, приветливо спросят: «Откуда ты, девочка?» И, услышав ответ, скажут с усмешкой: «Слишком сильный акцент для нашего бара».

Ладно. Пройдут и это, отслужат в армии, где все равны и рядовой называет генерала — Йося («А все равно, — сказал мне один солдат, в прошлом ленинградец, — и в армии находится сволочь, которая шипит...»), получают образование, нормальную

¹ Разве что последние годы, после распада СССР в Финляндии и Германии.

работу. Но какими они станут, те, из 90-х годов, и нынешние, из 2020-х, «русские» в Израиле? Обыкновенные молодые люди, пока не знающие, зачем приехали. Их много. Так много, как не было никогда прежде. И есть какая-то «критическая масса», способная объединиться в самостоятельную силу. Не абсорбироваться. Выработать свою программу. Хорошо, если только «иврит и деньги». А если «русский Ливан»?¹

Разумеется, у меня нет доказательств, я не проводил исследований. Только частные наблюдения. Девушка, обидевшись на что-то, заявляет своему другу, что у них ничего не выйдет, потому что она не любит израильтян. И друг, вытаскивающий в ответ пистолет.

Хотя, с другой стороны, какая уж тут абсорбция, если человек двадцати лет от роду, живя в Израиле, не знает, что такое Шоа? Ищет по календарю краткое разъяснение Катастрофы — закопанных в землю шести миллионов человек.

Тогда он тут просто эмигрант. И должен быть готов доказать, что это не так. В молодости вообще-то проще «проламываться».

Уолка

«Твою мать, — говорит Ольга, — чем вы все там занимаетесь?» Это она про Россию. Ольга живет в Америке. В узкой квартирке на Манхэттене, называемой «рэйл роуд» — железная дорога. Приехала сюда в девятнадцать лет. И сразу поселилась отдельно от родных, подальше от Брайтона — «одесской Америки» с ее сарделями, сардинами, семечками, милыми объявлениями по-русски: «Кинотеатр “Родина” — за углом». Все это вызывает у Ольги жалость и раздражение. Она не русская и не еврейка в Америке, она — американка. По языку, одежде, стилю жизни. За десять лет окончила колледж и университет, получила докторскую степень, профессию, к которой нельзя относиться без уважения — лечит детей, больных спидом, реабилитирует недвижимых. Для этого у нее есть своя система, включающая «уолку» (от английского walk /уолк/ — прогулка) — легкое приспособление, которое катишь впереди себя и двигаешься за ним. Ольга учит детей и взрослых пользоваться «уолкой».

У нее все есть: деньги, работа, любовник, острый язык, который она пускает в ход, набрасываясь на меня, когда разговор заходит о России: «Твою мать, чем вы там занимаетесь! Нужно производить. Тысячи инженеров, и пока на тысячу — один компьютер. Все должны идти и делать. Никому не нужны абстракции, теории, газеты, когда жрать нечего». — «Что же, всем сажать картошку?» — «А вы как думали? — огрызается Ольга. — Нет, не могу больше», — она задыхается от возмущения. Ее бесит «совковая психология». Болезнь вроде паралича. Может быть, всем нужна какая-то «уолка» — катишь впереди и двигаешься за ней?

Со мной Ольга отправляет в Москву громадный чемодан — инвентарь для закусочной. Она собирается делать и продавать какую-то итальянскую лапшу. Все уже просчитала: повар, шофер будут получать столько, сколько не получают в России. Сама будет отбирать персонал, проверять меню, ей лапшу на уши не повесишь. Но те, кто будут у нее работать, будут жить лучше...

Зачем ей это? Зачем ездила в Армению после землетрясения, зачем в Израиль после войны? Она американка. Ее дом тут. «Да, тут, — говорит она. — Но и там, в России».

¹ Так думал я в девяносто втором году и рад, что это опасение оказалось напрасным.

Юрий Каграманов

У НИХ ВСЁ ВОЗМОЖНО

Раздался воздух впереди.
Сомкнулся сзади он.

Сэмюэл Кольридж

Название этой статьи никак не соотносено с прошумевшей в 30-х годах прошлого века книгой Синклера Льюиса «У нас это невозможно», — убеждавшей читателя, что в Соединённых Штатах может восторжествовать фашизм по европейскому образцу. Не о фашизме сейчас речь, но о других сюжетах, в их числе таких, которые современной историей до сих пор не опробованы.

Что в Америке действительно возможно, — это какая-то новая комбинация идеологием, отличная от традиционного американизма. Мы слишком часто представляли Америку такую, какою она была ещё недавно; это как свет умершей звезды. Америка стремительно менялась на протяжении последних лет. Известный неоконсерватор и прогнозист Роберт Каплан (у нас переведены некоторые из его книг) ещё в 2021 году писал в газете *Washington Post*: «Соединённые Штаты вступают в глубочайший политический и конституционный кризис со времён Гражданской войны (по мнению других авторов — со времён Войны за независимость. — *Ю.К.*), с обоснованными шансами в течение четырёх лет столкнуться с массовым насилием, распадом федеральной власти и разделением страны на враждующие красные (республиканские. — *Ю.К.*) и синие (демократические. — *Ю.К.*) анклав»¹. И это совсем не оригинальный прогноз. Как писал еженедельник *Paste*, в нынешние времена в Соединённых Штатах «Кассандра вещает из каждого утюга».

Крик обывателя со страницы той же газеты *Washington Post*: «Мы никогда не думали, что в Америке могут быть такие плохие времена». С другой точки зрения — времена в Америке как раз совсем неплохие и даже очень интересные.

Каграманов Юрий Михайлович — публицист, философ, культуролог. Родился в 1934 году в Баку. Окончил исторический факультет МГУ. Автор многих статей и ряда книг, в том числе: «Культурные войны в США» (2014), «Око бури. Проблемы исламского вызова» (2020), «Что ждёт Америку» (2021), «Время славянофильствует» (2022). Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Москве.

¹ *Washington Post* от 23.09.2021.

Странная революция

В год выборов в идеологическом поле царил редкостный разброд. Политически противостоящие силы организуются, как левые (демократы), они же синие, и правые (республиканцы), они же красные; противоречия меж ними только усугубляются: левые всё больше подвигаются влево, а правые вправо. Но и внутри этих группировок сеть силы, которые тянут в разные стороны. И есть такие группировки, которые к правым ли, к левым отнести трудно.

Особенно это касается левых. Господствующая идеология здесь обычно определяется как марксизм, в относительно недавние ещё времена подавляющим большинством американцев воспринимавшийся как такое лихо, которое достать их никак не сможет. И у нас распространение марксизма в стране «развитого капитализма» воспринимается как диковина. Заметим, однако, — в нашем «одомашненном» марксизме внимание было обращено на его экономическую сторону, тогда как это учение — многостороннее. Сущность его, как мне представляется, наметил Плеханов, а развил его мысль покойный философ Вадим Межуев: это — пафос движения; пафос первичен, а логические конструкции вторичны. Можно, наверное, сказать и так: не столько важно, к чему двигаться, сколько от чего — Начал, Основ, Твёрдых понятий¹. (У нас более или менее последовательными — не на словах, а «по духу» — марксистами были Ленин и Троцкий, а фактически порвал с марксизмом Сталин). В Соединённые Штаты марксизм был занесён троцкистами, в основном франкфуртскими культур-философами, поставившими целью завоевание тамошних университетов, что в значительной мере удалось им уже к 70-м годам. А в 90-е марксизм потёк оттуда, как каша в гриммовской сказке, разливаясь по всей стране.

Вылился он теперь в самые разные формы: и в форму борьбы с капитализмом (да, есть и это по-прежнему), и в различные фантазии о гендерном самоопределении, и в блажь о превосходстве чёрных, и так далее. Все подобные движения до поры до времени поддерживали технологические гиганты, начиная с Силиконовой долины. Это средоточие разного рода технологических новаций, где подвизаются раскованные молодые люди с математическими умами. Здесь фокус так называемой калифорнийской идеологии, сочетающей наследие хиппи с технологическим прогрессизмом.

Мне лично как-то милее Силиконовой долины, равно как и всех «пробуждённых» в левацком смысле этого понятия, помещённая на другом, атлантическом, побережье Штатов Сонная лощина, созданная воображением Вашингтона Ирвинга, где, как правило, царят тишина и безмятежность. Если там и засели где-то злодеи, то простые люди видят, что именно злодеи. Увы, пастораль эта осталась в далёком прошлом.

Между всеми этими движениями есть расхождения и конфликты. Например, принципиальным феминисткам не совсем по пути с поборниками неограниченных свобод в половой сфере. Негритянское сообщество, выступающее на стороне левых, в некоторой своей части не приемлет гендерные новации или, по меньшей мере, относится к ним с осторожностью. Борцы с капитализмом не всегда готовы отводить первые роли неграм. А объединяет их всех враждебность, во многих случаях доходящая до раскалённой ненависти, к традиционной Америке, ко всей вообще евро-американской цивилизации в её основаниях и в её высших достижениях, ко всему

¹ Подробнее я писал об этом в статье «О “возвращении” марксизма на Западе» («Русская истина», 21.05.2024).

наследию, оставленному «мёртвыми белыми мужчинами» (сразу три предосудительных недостатка).

О мужчинах, о диалектике маскулинности неплохо сказал писатель Майкл Хопер (не к поколению «старых ворчунов» принадлежащий, но к «поколению икс», то есть родившихся между 1965 и 1976 годами): «Трудные времена создают сильных мужчин. Сильные мужчины создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых мужчин. А слабые мужчины создают тяжёлые времена». О чём-то подобном, помнится, писал и Платон.

Самое забористое, что находим на стороне левых, — представления о гендерной текучести. Это последний крик либерализма, взявшего разгон и не умеющего остановиться. Изначальное его кредо, поставившее во главу угла принцип свободы, имело свои резоны, но до определённых пределов. А гендерные новации — это выродившийся, зарвавшийся либерализм, позволяющий оценить по достоинству мысль Леонтьева: «Всякое начало, доведённое односторонней последовательностью до каких-нибудь крайних выводов, не только может стать убийственным, но даже и самоубийственным»¹. Его же уподобление «до конца» освобождённого индивида атому в теле гниющего трупа, хоть и выглядит макабрическим, достаточно оправданно.

У правых с их стороны остаётся консервативный «запас» — это «одноэтажная Америка» по большей своей части. Синклер Льюис окаррикурировал её в «Главной улице», изобразив как мешанское болото. Уже в наше время Ларс фон Триер добавил ей и вовсе зловещие черты в фильме «Догвилль». Но мешанство, по справедливому замечанию Мережковского (лично от него страшно далёкого), может выступать как воплощение посредственности, но может — и как «мудрое и доброе».

Большинство жителей «одноэтажной Америки» исповедуют трампизм — понятие, оторвавшееся от личности Трампа и обещающее остаться после его ухода с политической сцены. Ещё раз процитирую Каплана, ныне состоящего в демократах и тем не менее давшего довольно объективную характеристику (в той же статье) этой категории населения, как и вообще трампистов: «Большинство сторонников Трампа — хорошие родители, хорошие соседи и достойные члены своего сообщества. Их фанатизм (вольнo ему называть их верования фанатизмом. — Ю.К.) по большей части является типичным фанатизмом белых американцев, возможно, с добавленной мерой негодования и менее отфильтрованной формой выражения с тех пор, как на сцене появился Трамп. Это нормальные люди в том смысле, что они думают и действуют так, как американцы действовали веками. Они верят в семью, своё племя, религию и расу».

Такие люди всегда представляли собою костяк американского общества. Уолт Уитмен, который до сих пор пользовался репутацией главного поэта Америки, писал, что влюблён

В тех, кто владеет топорами и молотами
И умеет управлять лошадьми².

Шервуд Андерсон в «Песнях глубинной Америки» (1918) хоть и признал, сколь узок кругозор её обитателей, тем не менее впечатлился их добрыми нравами, простодушием и весёлостью. Что-то от этих качеств сохранялось до последнего времени. Гек Финн с Томом Сойером, попади они сюда, почувствовали бы себя не совсем чужими.

¹ TheLib.ru/books/leontiev_konstantin/vizantizm_slavyanstvo-read2.html

² Перевод К. Чуковского.

В этой среде вызывали недоверие «бледные эстеты» из Гринвич-Виллиджа и «мудрилы» из университетских кампусов; тем и другим можно было в этой связи посочувствовать. Но когда из больших городов в малые потекли потоки квир-культуры (queer culture) со всеми её прелестями, тут уже сочувствовать приходится «одноэтажной Америке».

Есть диалектика отношений «корешков» и «вершков»: правда-истина переходит от одних к другим и наоборот.

Происходящее до сих пор в больших городах — в малых вызывает изумление; по словам одного из тамошних обитателей, «мы будто попали в королевство кривых зеркал». А все выкрутасы вокруг гендера создают впечатление, что синие просто-напросто психически больны.

«Гроздь гнева», как и в романе Стейнбека, зрели по стране, и не только в малых городах. Что дальше? Вызовет ли повторный приход Трампа к власти встречную волну, как её называют моряки, которая опрокинет демократических «ослов» и «ослиц» с выстроенным ими царством лжи? Но, как я полагаю, не Трамп поднял встречную волну, а, наоборот, волна вынесла Трампа. Её подняла американская глубинка, ещё не растерявшая прежнее своё христианство.

Происходящее называют иногда революцией здравого смысла. Точнее говорить здесь о контрреволюции. А революция пока остановлена.

Хотя одолеть синих, подгоняемых в своём оголтении нечистой силой и ставших ещё злее после проигранных выборов, будет очень непросто. У них сильные позиции в сохраняющихся бюрократических структурах, особенно в тех штатах, где большинство остаётся за ними. Они почти овладели школой, как мы знаем из опыта, способной в относительно короткое время пересоздать нацию (ближайший пример — Украина). Я уже не говорю об университетах, в большинстве которых свирепствуют хунвейбины нового образца в союзе с припадочными профессорами и профессоршами. В помощь синим за минувшие годы наполнили караваны иммигрантов, культурно чуждых Америке и потому тоже представляющих собою революционную силу. Выдворить их всех, чего в идеале хотели бы трамписты, будет невозможно.

Историки и публицисты консервативного направления считают, что революция, развернувшаяся в Америке за минувшие годы, по своим масштабам и объективно поставленным задачам близка двум «великим» революциям, Французской и Русской. Особенно много аналогий находят с Русской революцией, хронологически гораздо более близкой.

Знакомые с русской историей указывают, что тогда и теперь революцию начинали «студенты-идеалисты» (в Америке это «дети цветов» конца 60-х), вообще работники умственного труда — применительно к Америке не хочется называть их интеллигенцией, это всё-таки специфически русское понятие. Революционеров Америки, как и русскую революционную интеллигенцию, отличает «идейность задач» и «беспочвенность идей» (известная характеристика Г.П.Федотова). Параллели находят и в частности: детей, которых революция отбирает у родителей, называют «павликами морозовыми», ждут появления в Конгрессе, ставшем после выборов республиканским, «матроса Железняка», «событие 6 января» («шторм» Капитолия, спровоцированный ФБР) приравнивают к «событиям 9 января», то есть к «гапоновщине», травлю полиции — к судьбе несчастных городских в феврале 1917-го, уличный беспредел сравнивают с тем, что творилось в том году в Петербурге и Москве. За короткое время у людей поменялось выражение лиц, но то же происходило и в России — по наблюдениям Бердяева, Бунина и многих других.

Происходившее доднесь в городах Америки можно было бы так же описать словами Бунина из «Окаянных дней»: «Недоуменное существование и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество».

Но есть в разворачивавшейся в Соединённых Штатах революции существенная черта, отличающая её от «великих» предшественниц: это странная революция в том смысле, что «верхи» общества её поощряли и сами разжигали. Можно ли представить, чтобы Людовик XVI, пока он ещё оставался королём, записался бы в Якобинский клуб (или что ему там предшествовало — клуб Кордельеров)? Или Николай II, тоже ещё император, вступил бы в партию большевиков или хотя бы разделял их программу и продвигал её в жизнь? Но именно что-то подобное происходило в Америке: вся верхушка «ослов», включая ушедшего со своего поста зиц-председателя Байдена, разделяет все радикальные идеи, какие можно найти на стороне левых; даже военная верхушка, психологически всегда тяготеющая к консерватизму, в этом от неё не отличалась. Что ими движет? Никакие материальные «интересы» здесь ничего не могут объяснить.

У прот. Сергея Булгакова есть глубокая мысль о том, что исторический процесс представляет собою одновременно и проявление духовных сил, и сокрытие их. Что в данном случае исходит из сокрытого, лучше выразить поэтически:

Это — ветер с чёрным флагом
Разыгрался впереди...

(В блоковой строке я лишь заменил красный флаг на чёрный — цвет анархии и ещё многого другого.) Ветер подгонял радикалов, но заставлял гнуться и тех, кому он вроде бы ничего хорошего не несёт.

Справится ли с ним встречный воздушный поток? Авиаторы знают: встречный ветер содержит в себе подъёмную силу, но может внезапно прекратиться.

«Власть — воображению»?

Лозунг французских студентов бунтующего 1968-го, похоже, был подхвачен в минувшие годы в Соединённых Штатах. На самых разных площадках зазвучали признания, что американская демократия стала «склеротичной» и что преодолеть эту беду должно помочь «гражданское воображение». Даже либеральная «Нью Йорк таймс» посетовала (в номере от 02.07.2021) на утрату в обществе «политического воображения» и призвала к «оживлению и обновлению американского эксперимента».

В подобных случаях задача обновления выпадает, хотя бы частично, на долю художественной мысли. В России, как считается, художественная литература сыграла определённую роль в подготовке катастрофической революции. Бунин в «Окаянных днях»: «Как отделить реальность от того, что даёт книга, театр, кинематограф?» В Соединённых Штатах в этом плане на первое место вышло искусство экрана. Историк и политолог Бенедикт Андерсон пишет в книге «Воображаемые сообщества» (Imagined Communities, впервые издана в 1981 году, в переводе на русский — в 2001-м.), что нации существуют «через постоянно возобновляемые усилия воображения» и что поэтому «культурные артефакты» важнее идеологий. Не знаю, важнее ли, но что важны — бесспорно.

Напомню несколько таких «артефактов», интересных в соотношении с переменами, происходящими в Америке.

Сериал «Игра престолов» (2011—2019), один из самых успешных или даже самый успешный за всю историю жанра, вместе с его не законченным пока приквелом «Дом Дракона» (2022—2024—...). В них явно выразилось тяготение к естественно-историческому, хотя зачастую и неприглядному, ко временам, когда мир не был стерильным и когда «люди были людьми, а лошади были лошадьми», и место нынешних заумных типов оружия занимали очень понятные (хотя бы и воображаемые) драконы. Привлекательности добавили фильму острые приправы: в кулинарии они «разжигают костёр» в пищеводе, а здесь «разжигают костёр» в душах, выводя их из состояния равновесия.

Вроде бы на экране показано Средневековье (хотя некоторые картины уводят, похоже, в эпоху Ренессанса или даже в античность), но средневековые персонажи здесь — скорее современные люди, обряженные в исторические костюмы, или, наоборот, средневековые люди, ненароком попавшие на съёмочную площадку и растерявшиеся от обилия вокруг них непривычного. Потому что ни у кого из них нет настоящего «царя в голове».

Подлинное Средневековье пронизано христианством, а здесь оно не работает; от него сохранились лишь остатки — вроде тумана, задержавшегося в низинах. Это картина если не современного американского общества, то, во всяком случае, того, каким оно могло бы стать в будущем — практически расхристианизированным. Здесь нет общей для всех системы нравственных координат, за редкими исключениями нет твёрдых представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо; есть игра страстей, выпущенных на свободу.

И ещё — соблазн «вечного возвращения»: некоторая увлечённость феодальными нравами, и кто знает, какие семена заронит она в нынешнюю взрыхлённую почву американского сознания.

Заметим, что в сериале почти нет негров, что для Америки, какова она сегодня, необычно.

Психологическая доминанта фильма — безрадостность. По всему сериалу разбросаны реплики типа «зима близко» (и зима здесь такая, что ей конца не видно), «приближается долгая ночь, и мёртвые идут с ней». Холод, ночь — знаки метафизической пустоты. По замечанию одного из критиков, «сериал полон дурных предчувствий».

Ещё одно произведение в этом ряду — франшиза «Судная ночь». Малохудожественная во всех её вариантах, но идейно заострённая — потому и привлекла внимание критиков. Сюжет здесь такой. Власти санкционировали выделение особой ночи в году, в течение которой всем всё позволено и каждый может расправиться с себе подобными каким угодно способом. Любой член общества выступает, таким образом, в роли этакого доктора Джекила, с наступлением выделенной ночи готового перевоплотиться в мистера Хайда. Удобопревратность человеческой природы провокативная франшиза демонстрирует с предельной наглядностью.

То, что зрителю представляется абсурдным, самими участниками Судной ночи, по крайней мере многими из них, воспринимается как естественное: люди из любого вида услуги встречают обслуживаемых дежурными улыбками, те, у кого есть для этого настроение, развлекаются на балах, своим чередом идут семейные ссоры и т.п.; те, у кого «накопилось», — выпускают пар. Кое-кто представляет дело таким образом, что Судная ночь есть апофеоз свободы, развитие идеалов Вашингтона и Джефферсона.

Татьяна Веретенова

Надо ли БЫТЬ СВОИМ?

Четыре волею случая сошедшихся на моём столе книги объединяет короткий жанр, лаконизм повествования и поиск героями *правильного «контекста»* собственной жизни, *своего места* — в пространстве географически-реальном и фантазийном, и во времени — вчерашнем и сегодняшнем, повседневном и историческом.

Уехать в сочинённый город

Макс НЕВОЛОШИН. Где сидит фазан. — M-Graphics | Boston, MA. — 2024

Сборник «Где сидит фазан» (две повести и четыре рассказа) прочитывается как проза поколенческая, с центральной темой эмиграции в 1990-х. «Где» в названии заглавной повести сразу указывает на значимость локации, а города нанизаны на судьбу героя и образуют портретную галерею: Самара, Москва, Мюнхен, Веллингтон, Гонконг (проездом) и, наконец, Сидней. Герой-повествователь умен, ироничен, обаятелен, честолюбив, краток и склонен к постоянной рефлексии. Завязкой можно считать тот эпизод его самарского детства, когда мальчишкой в кинотеатре на просмотре «Фантомаса» он влюбляется в образ «ослепительного моря» и в его сознании возникает «идея пространства, куда меня надо вернуть». Однако интуитивное ощущение собственной инородности в Самаре у него врожденное: «Смутная идея ошибки — ровесница моей памяти. Чувство, будто меня с кем-то перепутали. Сомнения колобка, попавшего в набор гостинцев для бабушки. Полумрак, и тебя куда-то несут. Рядом пироги, масло — вроде свои, а контекст не тот. Какого хрена я здесь делаю? Кто меня сюда заслал? Все не так, ребята».

Повесть «Где сидит фазан» — история исправления этого «не так». Герой справится: и от бабушки ушел, и от дедушки ушел... Сюжет складывается пунктирно из фрагментов его жизни в разных городах и представляет собой склейку из далеко отстоящих эпизодов, например, первый день в Мюнхене и сразу же — последний перед отъездом. Полугодовая стажировка в столице Баварии станет для героя пробой заграничной жизни на вкус, репетицией эмиграции. Именно здесь герой впервые ловит себя на ощущении «глубокий выдох: я дома»; для него Мюнхен — «город, который отредактировал меня, нет, переписал заново». «Отредактированный» колобок вскорости покатится в Новую Зеландию, а затем и в Австралию. Момент окончательного отъезда («сбыча мечт») осмыслен как перерождение, описан как процесс родов

(«Я был одновременно акушером, новорожденным и матерью...»), в результате которых появляется новый «некто»: «Ведь эмиграция — не только смена места, языка. Ты сам меняешься четверти на три. Уходит морщинистый циник с тяжелым анамнезом, появляется некто глупее, моложе, легче».

Веллингтон, где герои проживут некоторое время, предстанет как «демисезонный город», у которого аэропорт «напоминал замаскированный плакатами сарай», а пребывание там — «жизнь понарошку». Портрет Гонконга совсем краткий, как случайного попутчика, и какой-то тактильный: «Гонконг — второе имя тесноты. Людей и небоскребы там хочется расталкивать плечами».

От масштабного видения судьбы с акцентом на мотив эмиграции, с крохотными диалогами где-то на пути, на пограничном контроле, оптика повествователя периодически сужается до конкретных эпизодов, например, знакомства в Веллингтоне с талантливым музыкантом Артёмом Самарским (это, конечно, псевдоним, просто он тоже из Самары) и его женой Сашей, с ученым-биологом Юрием Лашковым. Искренне и бескорыстно преданный науке, Лашков изображен как раз как узнаваемый герой поколения позднего советского времени: «Юрий был визиткой той эпохи, когда ходили в гости без звонка и деньги занимали без отдачи. Живым свидетельством того, что память не обманывает нас». О чем же та четверть, что не меняется в человеке при эмиграции? Возможно, как раз поколенческий запрос на справедливость, стремление к развитию и образованию, а еще чувство собственного достоинства?

Уникальность рассказа Неволошина об эмиграции не только в его краткости, афористичности и отказе от описания сборов и прочих бытовых подробностей, но в особой философии его героя, где главное — сила намерения и концентрация мысли. Детская мечта не угаснет, а станет сильнейшим ментальным импульсом, определившим дальнейшую судьбу. «Существование вещей, от чашки кофе до Вселенной, определяется направленностью мысли. Это не эмпиризм и не идеализм... Когнитивная оценка внешних стимулов есть то, что мы называем реальностью. Справедливо и обратное. Если нам что-то пофиг, существование его как минимум под вопросом. Наличие Веллингтона — стимул. Отсутствие его — мощнейший стимул. Я думал о нем каждый день: с утра и на ночь, трезвым, выпимши и между, в такси, автобусах на рынке и вокзале, в печали, радости, толпе и одиночестве. Я не оставил ему шанса ускользнуть». Герой-повествователь буквально описывает наполнение своего сознания городом: «Веллингтон тотально овладел моим сознанием». Здесь неизбежно вспоминается роман «Желание быть городом» Дмитрия Бавильского, хотя там вложены иные смыслы.

Сюжет в итоге притормаживает в Сиднее, в университетском офисе, где герой работает аналитиком. Перед нами коллеги героя: Терри, Масуд, босс Джефф Скотт, Ева Дэвис; различные типажи и стили работы. Думающим сложно, в соревновании честолюбий выигрывают преимущественно расчетливые и хитрые. Общая атмосфера — «соблазны и понты туманят мозг», и в повести начинает вырисовываться противопоставление «человек офисный» и «человек свободный». При рассуждении об австралийском акценте и умении притвориться местным вдруг прозвучит: «Надо ли мне быть своим — вопрос». Следующий прыжок сюжета — из офиса героя к истории работы его жены, где столкновение характеров ведет к несчастью.

Но снова и снова взгляд повествователя как будто взмывает вверх, и будто из самолета он смотрит на мир и обобщает: «Есть города-театры, города-каравеллы, города-цеха, общежития, музеи. Сидней — город-дельтаплан». И с каждым городом герой выстраивает отношения: «С городами, где живешь подолгу, возникают отношения наподобие человеческих. Самара — мать оболтуса-подростка, Москва — альянс юного честолюбца и влиятельной старухи. Мюнхен — страсть без перспектив, гранатовый

браслет. Веллингтон — друг с нелегким характером. Сидней оказался хитрее других: под маской бизнесмена он годами скрывал лицо». Скажем точнее — морду. Ну да, для героя-колобка Сидней окажется той самой хитрой лисой. Впрочем, автор определит его иначе: «Дракон. Не он ли метафора этого города? Летящий, гипнотический фантом, для которого мы — обслуга, еда». Еда. Вот-вот. А дальше бегство — попытка убежать от Сиднея-дракона-лисы, когда она уже куснула за бочок. Герой понимает, что «этот город нас кинул, подставил», и вступает с ним в спор. Развязка будет оригинальной и неожиданной.

Вторая повесть — «Конформистка» — тоже про эмиграцию, но про женский ее вариант; как и первая, по объему изображенного она тянет на роман. В главной героине — Саше Нестеровой (Сандре Нест) — легко угадывается эпизодический персонаж из первой истории — жена музыканта Артёма (теперь он не Самарский, а Самарцев — не суть). В непростой судьбе умной и честолюбивой провинциальной девушки из семьи военного (а мы видим её от детского сада до возраста 40+) так же пунктирно, эпизодами показаны приметы поколения: комсомольская юность, институт, самостоятельный бизнес в 90-е, разборки с бандитами, влюбленность, эмиграция в Австралию. И в правильности своего выбора Саша, как и герой заглавной повести, тоже сомневается: «Там я лучшая была, а здесь?» Героев обеих повестей сближает какой-то врожденный соревновательный импульс, стремление стать «лучшим», упрямство в достижении целей и умение кардинально менять свое настоящее: «Да гори оно!» — очень по-русски восклицают оба в моменты значимых жизненных выборов.

Рассказы «Побег из зоопарка» и «Психология одного преступления» — о неприглядной жизни сельских учителей в конце 1980-х (тоска, пьянство, убогие жилищные условия) — во многом объясняют решение героя эмигрировать: «Все мои последующие жизни есть, по сути, бегство из села Чучминка Татарской ССР». «Когнитивный диссонанс» отчасти объясняет, почему герой не остался, например, в Москве. История об этическом выборе и его последствиях; научный руководитель Ольга Павловна Рюрикова берет материал из статьи аспиранта (он повествователь) в свою докторскую диссертацию, не поставив его в известность. Далее сюжет предлагает варианты судьбы героя: когда бы он обвинил её в плагиате и, наоборот, когда бы промолчал, проглотил, но запомнил. Оба варианта начинаются фразой «моя дальнейшая судьба не представляет интереса», что, кстати, могло бы стать удачным названием этого рассказа. Второй вариант сюжета предполагает, что колобок покатится дальше, он оказался не по зубам Ольге Павловне.

Завершающий «Белый кролик из чёрной шляпы» — самый светлый в сборнике (и как верно, что он в финале!) — о двух случаях, когда повествователю-учителю Максудовелось учить талантливых детей: однажды в России и позже в Новой Зеландии. Сюжет позволяет порассуждать о случайности встреч, о «непознаваемом» и о том, кто для кого кролик. Но главное, что в жизни учителя случаются моменты, когда «дважды в неделю я сквозь волшебную дверь проникал из мира абсурда и зла в цитадель комфорта и смысла».

Очевидно, что герой заглавной повести и некоторых рассказов в большой степени замешен из автобиографического теста (но все-таки это не автофикшн), а у героев всегда есть прототипы: «А без прототипа герой — фанера... Мне интересна правда, личный авторский опыт, цепкость детали, выбор и порядок слов — если всё это есть». Да, всё есть. Герой сразу признается, что он «автор добродушный», а «сочинительство» напоминает ему «прогулку с любознательным ребенком. Расслабишься, отпустишь — бежит невесть куда», что и объясняет особенности сюжета, который норовит свернуть в неожиданном направлении. Краткие, четкие предложения емко передают афористичность и ироничность авторского тона. Любит

Неволошин и языковые игры с узнаваемыми штампами: «Самолет кидало вниз и поперек, будто лодку по волнам. Небо и море похожи в этом смысле: обе стихии легко раскрывают тему как маленького, так и лишнего человека».

Местами этот самоироничный сборник напоминает воспоминания, хотя бы потому, что считывается «опыт зачерствевшего в скитаниях колобка», его мудрость как результат ошибок, стремление делать обобщения, выводы: «В детстве я завидовал людям красивым. В юности — известным, затем — богатым, позднее — талантливым. Сейчас завидую только беспечным. Тем, кто в любых обстоятельствах не завидует никому».

Герои, пришедшие из снов

Анна ЛУЖБИНА. «Юркие люди». — М.: АСТ / РЕШ, 2023. — (Серия «Классное чтение»)

Дебютная книга Анны Лужбиной, аналитического юнгианского психолога с первым философским образованием, — это сборник коротких иллюстрированных рассказов (художник Марина Козинаки). Помимо рассказов отдельных, самостоятельных, в ней есть два тематических цикла, включающих по пять мини-историй.

При чтении быстро сосредотачиваешься на оси «автор — его герой»: сразу ощущаешь не просто уважительное, а бережное, деликатное и даже какое-то нежное отношение Лужбиной к своим «юрким людям». «Я всегда иду за героем», — признается она на встрече с читателями. И ещё: «Я написала книгу о чужаках». Кто же такие ее герои, эти чужаки, эти юркие люди? Кто-то из читателей и критиков пожелал увидеть в них типаж «маленького человека». Но нет, «маленький человек» — порождение структуры общества и его иерархий, а герои Лужбиной обычно обитают где-то вдали от социума (часто до нелепости не замечая его, и именно поэтому они чужаки), где-то гораздо ближе к природе, а то и вовсе на границе сна и яви. Большинство производит впечатление вполне самодостаточных — сами по себе, себе на уме; многие пребывают в состоянии отрешенном, а порой и созерцательном — внутренне спокойны и сосредоточены на своих целях или же повседневных занятиях, и при этом каждый обладает заметной, очевидной индивидуальностью. Однако для этих «немаленьких» людей значимы маленькие радости повседневной жизни: наблюдает за птицами и радуется приходу весны Егорыч («Зимовка»), не расстается со своим лимонным деревом девушка Ми (Эмилия, «Она»).

Да, авторская оптика настроена на выявление архетипа чужака, на тип героя, ускользающего от общих правил и порядков. Инаковость «юрких людей» варьируется от обычной замкнутости до характеристики «чуждой человек» (Яков, «Бат») и, пожалуй, достигает крайности в случае героини «Дымка» (одного из самых сильных рассказов в сборнике) — «наша местная юродивая». Живущая в деревне героиня (повествование ведется от её лица) обладает особым мировосприятием. Её окружают животные: кони Ирис, Юзуф, Каштан, собака Маруся; она переживает за судьбу соседской собаки Наны, к ней во двор приходит молодая лосиха, которую она называет Кларой. А вот люди для нее настолько неважны, незначительны, что она не в состоянии запомнить их имена, и они присутствуют в ее жизни под «номинациями»: сосед, писательница, конюх, батюшка (церковный), почтальон. Она давно всё решила для себя про людей: «С людьми мне давно всё понятно, особенно с городскими: от них

никогда нельзя ждать хорошего. <...> Я отправила газету в мусорку, остановившись на второй криминальной странице. Мне жалко было жертв, жалко преступников, жалко живых, жалко убитых, я не могла понять, почему нельзя жить спокойно и просто не обижать друг друга». Животные в своих естественных природных проявлениях ей гораздо ближе. Раз в несколько месяцев она всё-таки приходит в местный бар, однако и там в какой-то момент ныряет под стол, исчезает из пространства людей и незаметно выбирается на улицу: «Я подняла скатерть и юркнула куда-то под стол. Никто не замечал, что меня больше не существует. Писательница удивленно смотрела по сторонам. Сосед заказал еще пива. Скрипнула дверь бара, и зашли конюх и батюшка». Её вроде и жаль (похоже, когда-то в детстве она получила глубокую психологическую травму), но нельзя не заметить естественную гармонию и полноту её дома, её мира. Сквозная тема сборника — сохранение собственной инаковости, индивидуальности, своей самости, свобода быть собой; выбор в пользу себя, даже если приходится жертвовать отношениями с другими людьми.

Герои многих рассказов (каждый по-своему) наделены созвучием живым ритмам природы, из самых выразительных — Яков в финальном «Бате»: «Лодка у Якова — старый бат, пережил и японцев, и паводки, и пожары. Такого бата ни у кого в деревне больше нет: узкая долбленка из цельного тополя. Яков выплывает на середину реки, зачерпывает ладонью воду и нюхает. Рыбное место пахнет чешуей, а если рыба крупная, то ещё и сырым мясом». Как и героине «Дымка», Якову ближе животные, нежели люди; самое близкое ему существо — охотничий баклан Тимоша: «Тимоша складывает крылья, переступает в нетерпении с лапы на лапу. В нужном месте Яков снимает с него поводок-колечко, и Тимоша взлетает в небо. Дождь вроде бы кончился, и всё блестит на осторожном солнце: чёрный Тимоша блестит, и вода, и даже рыбаки как будто блестят».

Акцент в рассказах Лужбиной преимущественно не на истории, не на ситуации, а на характере героя, его внутреннем мире и его восприятии происходящего: «У меня внешние события равнозначны внутренним». Во многих рассказах как-то очень по-чеховски ничего не происходит, перед читателем вроде бы картины привычной героям повседневности. И даже если разворачивается напряженный драматический сюжет, главный герой может не заметить, не распознать этого драматизма, оставаясь в каком-то полусонном состоянии: автор неоднократно использует прием непонимания героем ситуации, в которой тот оказался («Маленькая страна», «Разлука с грибницей», «Уле рассказывают историю»). Это даже не остранение, а вытеснение драматизма за рамки восприятия героя/героини, в итоге читатель видит спокойствие персонажа и драматизм как декорацию на заднем плане (помимо упомянутых рассказов ещё, например, «Мальчик на велосипеде»).

Лужбина наделяет своих героев либо природно-естественным взглядом на мир, либо детским. Невозможно не заметить обилие героев-детей: мальчик Ефим («Мотылёк»), Оля («Два утра»), Мимиша («Она»), Варя («Маленькая страна»), Федя и Олечка («Мальчик на велосипеде»)... Или же взрослые сохраняют детскую наивность и простодушие: «как дитя ты», — говорит Миша о Якове в «Бате». Пространство и время в рассказах Лужбиной варьируются в диапазоне от вполне конкретного Черкизовского рынка до территории мифов и сказочной фантастики («Зона покоя Уок» и серия «Бат, шишига, ока, фотон, маглев»). Её очень ёмкая, опять-таки по-чеховски краткая проза по своей природе глубоко метафорична, а потому многозначна.

То дым, то туман, то сон, то явь, то выдумка, то вроде реальность — художественное пространство сборника воздушное, неплотное, ускользающее. «Иногда какой-то образ снится, и именно он становится сердцем рассказа», — признается Лужбина. Мотив сна присутствует во многих её историях; самая «сонная» — финальный «Бат», где герой много и крепко спит: «спит так, что нельзя разбудить», однако оказавшись в чужом доме, он ворочается и заснуть не может. Не получается заснуть в гостиничном номере и у героини рассказа «Фотон» — в итоге Ася возвращается на спальное место в кабине своей фуры.

Нежно-бережное авторское отношение к герою своим магически успокаивающим тоном распространяется постепенно и на читателя. Хотя в книге Лужбиной есть описания и упоминания преступлений, стихийных бедствий, боли, травмирующих ситуаций, но акцент (за счет восприятия героя) как будто смещается в пространство спокойствия, смирения и исцеления. Жизненные ситуации заставляют героев крутиться-вертеться, становиться юркими, проворными, но они не теряют при этом свою цельность, способны радоваться малому, и потому, похоже, знают секреты счастья. Проза Анны Лужбиной далеко не литература травмы, скорее уж терапии.

О Петербурге бывшем и настоящем

Арина ОБУХ. «Следующая остановка “Пионерская-стрит”»: Рассказы. — М.: АСТ/РЕШ, 2024;

Светлана ВОЛКОВА. Великая любовь Оленьки Дьяковой: Рассказы. — М.: АСТ/РЕШ, 2024

— Для чего тогда ты вообще пишешь?

— Для счастья.

Арина Обух. «Мы когда-нибудь перестанем об этом говорить, но не сегодня»

Арина Обух и Светлана Волкова — молодые писательницы, обе коренные петербурженки; их новыми сборниками рассказов «Редакция Елены Шубиной» открывает новую серию: «Петербург и его обитатели». По взгляду на город, по стилистической манере, по авторской позиции книги предельно различны: воздушный лирический автофикшн Обух сходен с сюжетными, конкретными историями Волковой лишь общими именами некоторых петербургских декораций. Вглядываясь в трехсотлетний портрет города, улавливая черты ушедших эпох, Обух пишет Петербург сегодняшний, а Волкова работает в жанре рассказа исторического, обращаясь преимущественно ко времени начала двадцатого века.

Рассказы *Арины Обух* как будто пойманы (как рыбы на удочку или сетями) из петербургского влажного воздуха; рассказы-фрагменты, рассказы-эпизоды. Сборник обильно проиллюстрирован ее небольшими рисунками, и обительница Петербурга — прежде всего она сама (она и на обложке со своей самодельной рыбой), но в рассказах — о себе как раз не так уж много. Лирическая героиня как будто ходит, гуляет, точнее, фланирует (употреблен и выделен курсивом именно этот глагол, так естественно применимый к Петербургу, но не подходящий к Москве) и наблюдает или вспоминает фрагменты каких-то историй, повседневных ситуаций, слышит обрывки разговоров. Обитатели её Петербурга не только люди: рыбаки, скульпторы, художники,

«демонстраторы пластических поз», влюбленные или приезжие, — но и животные (чайка Орландо — «На фоне красного брандмауэра»), и памятники (Гоголю, Бродскому, Довлатову...), её собственная скульптура «русалка-петербурженка» («подругу себе леплю»), многие улицы и площади города, кафе и Нева, остановки метро, башня художника на одном из зданий, уже ушедшая бабушка на Смоленском кладбище, «смущённый фонтан»...

При чтении возникает ощущение, что новая книга Обух ещё более автофикш, чем первая, — уж очень силен эффект авторского присутствия: «Я родилась в демографической яме»; «Сижу с раскрытой “Азбукой”». Солёные волны из моих глаз размыывают текст. Я не могу подружить буквы, они не соединяются («Я тут был, я тут буду еще долго»). Краткое воспоминание о детстве, и вновь авторский взгляд с интересом и любопытством устремлен на город и его людей. Рассказы Арины Обух — пространство почти непрерывного, но фрагментарного, временами замирающего диалога, где собеседниками автогероини становятся то друг, то подруга, то мама, то умершая бабушка Катя, то прохожий, то известный режиссёр, то недавно умершая писательница. Разговоры с недавно ушедшими петербуржцами превращаются в монологи, становясь своеобразными лирическими некрологами.

Петербург Обух неожиданным образом лишен своих привычных четких и строгих линий — для неё он пространство возможных событий, переменчивых, тонких настроений, город-атмосфера, к тому же «Питер живёт по правилам сна». Портрет города наиболее заметно проявляется в рассказе «Услыши ны...», в диалоге с внезапно приехавшей к нему в гости Москвой:

- «— Ты красивый.
- Я провинциальный.
- Нет, ты красивый.
- Я дождливый. Зонт взяла?
- Ты очень красивый. У тебя такая история!..
- Да, я исторический.
- Но, главное, ты красивый!

Непробиваемая. Приехала без предупреждения. Лишь за полчаса оповестила: «Приезжаю в 13:10, встречай».

Он отложил диссертацию, депрессию, оставил кота соседям, выбежал на улицу. Здравствуй».

Москва и Петербург, он и она, двое — гуляют по городу. «Ему идет молчание. Он сразу становится похож на самого себя. Сложнохарактерный, отстраненный, сумрачный. И красивый. Москва летит по улицам, а он степенно шагает. Хотя ему всего триста семнадцать, а ей уже под девятьсот». Традиционную для русской литературы тему двух столиц Обух решает в форме приятельских взаимных визитов, легких разговоров с намеком на флирт, длительных совместных прогулок.

В рассказе «Два человека для масштаба» тоже пара гуляет по Петербургу; двое, он (приезжий режиссёр) и она (петербурженка); встречаясь у памятника Довлатову, они вновь и вновь отправляются гулять по улицам: осмотр достопримечательностей, общие фразы и нарастающая неопределенность между героями. И далее даже не в самих рассказах, а где-то в их подтексте как будто прозрачная воздушная статика, неподвижные, замершие облака, эмоциональная стагнация, зависание, не то чтобы невстреча, а какая-то остановка в отношениях. И «остановка» в названии книги обретает многозначность.

Несколько особняком, в финале сборника уже знакомая повесть «Муха имени Штиглица» (автофикшн про учебу в художественной академии) — тематически она в книге про Петербург вполне уместна, но нельзя не заметить, что её настроение иное:

по-юношески радостное, и лирическая героиня Обух как будто переросла её. «А чужую ностальгию я уже не рисую. Я рисую свою. Она хорошо продается».

Сборник *Светланы Волковой* «Великая любовь Оленьки Дьяковой», состоящий из шести объемных рассказов (некоторые — почти повести), переносит в Петербург начала XX века, два последних рассказа относятся уже к советскому времени. Первый же рассказ «Лукавая хирургия» начинается с точного обозначения времени действия: «В канун Пасхи 1913 года студент последнего курса Императорской Военно-медицинской академии Митя Солодов выкупил себе личного покойника». «Глаза бездонные» тоже в первой фразе называют и время, и ключевую ситуацию, о которой пойдет речь: «Жизнь молоденькой прачки Наташки, малорадостная, но хотя бы не голодная, круто изменилась на исходе 1916 года, в самый канун Рождества, когда она выстирала белую манильскую шаль генеральской вдовы Патрикеевой». Сюжетным, ориентированным на конкретную, часто анекдотическую ситуацию, рассказам Волковой, в отличие от историй Обух, свойственна точная привязка к месту и времени.

В авторском повествовании постоянно слышна добрая ирония, а речь персонажей старательно стилизована в соответствии с эпохой и их социальным статусом. «Что же получается, Академия платит за вас, а вы, господин Солодов, прогуливать изволите?» — строго, но уважительно обращается к герою профессор Крупцев. А речь «прачки Наташки» полна эмоций и просторечий: «Убьёт барыня! — ревела Наташка. — Кто ж знал, что розы линияые! Шалёнка-то деньжищ, поди, немереных стоит! Барыня говорила — князь какой-то ей на именины подарил. Наказывала пуще глаза беречь, как младенчика искупать и в комнате сушить, не на чердаке, чтоб не сбосячили».

Стремление к исторической достоверности, помимо речи героев, проявлено у Волковой в описании примет времени петербургской жизни; городские декорации, бытовой антураж и черты культурной жизни выписаны в подробностях, порой кажущихся даже избыточными. «Оленька каталась с ним на каруселях в Адмиралтейском саду, ходила в синематограф на Мозжухина и в Александринку на Савину, после же непременно лакомила мороженым и булочками с кремом, а однажды Петенька водил ее в знаменитый ресторан “Талон”, где они ели страсбургский пирог с гусиной печенью и запивали “Вдовой Клико”, и обратно ехали до дома на таксомоторе...» Профессора и студенты, гимназистки, поэты, закройщики, дворники, прачки, кухарки, уличные торговцы нарисованы выпукло, сочно; почти все герои Волковой эмоциональны и очень деятельны.

На стадии подготовки сборник назывался «Подмены», потому что в сюжетах всех рассказов так или иначе присутствует ситуация подмены кого-то или чего-то. Студент-медик вынужден заменить своего наставника на ответственной публичной операции; выдумывает себе возлюбленного, увидев имя на могильной плите, гимназистка Оленька Дьякова; выдает себя за художника опытный натурщик Капитон Корж («Артизан»). В фокусе внимания у Волковой прежде всего сама история, необычная ситуация, далее акцент сделан на изображение характера героя, и почти в каждом рассказе — краткий эпилог спустя несколько лет. Но именно Петербург как большая общая рама создает единое пространство всего происходящего: Военно-медицинская академия, Мариинская женская гимназия, Смоленское кладбище, Императорская Академия художеств, дворы и частные квартиры, кондитерская лавка около Андреевского рынка, вагоны конки и, конечно, Нева, смотреть в холодные воды которой станут герои нескольких рассказов.

Ольга Балла

Человек — это больше, чем тело, страна и планета

Отношения человека с историей и с создаваемым ею социумом — одна из первостепенных забот поэзии, которая и вообще озабочена устройением человека в мире, и этот его аспект — среди важнейших. В рассматриваемых нами поэтических книгах трёх очень разных авторов представлены три до противоположности отличных друг от друга (но чем-то всё-таки родственных) модуса поэтического восприятия истории — и верного спутника её (ненадёжного убежища от неё, возможного утешения в ней), — неисторического.

Юлий ХОМЕНКО. Лётное поле / Сост. Дмитрий Тонконогов. — М.: Пироскаф, 2024. — 80 с. — (Книжная серия журнала «Пироскаф», вып. 2)

Оставаясь стихами, тексты Юлия Хоменко разделяют много общих свойств с некоторыми видами прозы. Принципиально ясные, свободные от темнот, от неочевидных ассоциативных ходов, вообще от всего лишнего — выхватывающие из хаоса мира только самое существенное, стремительно наводящие взгляд на резкость, они заняты по преимуществу наблюдением ближайшего — с особенным вниманием, правда, к его парадоксам. Эти стихи как будто чужды обыкновенному для поэзии сближению далековатого, соблазнам экспериментов с языком, звуком, вообще с так называемой формой (да, они явление куда более смысловое, чем звуковое, однако форму удерживают — предельно сжатую и оттого предельно же концентрированную) и согласны на смиренную роль моментальных формул наблюдаемого, слепков с мельчайших единиц существования.

безветрие
но движение есть
его регистрирует
секундная стрелка
подёргиваясь
и смещаясь

Вот, кажется, это один из наиболее интересных Хоменко типов движения.

Его тексты близки афоризмам («*платформа Заслуженный Отдых // далее нигде*»), а иногда — микроэссеистике, уместающей мысль в совсем немногих строчках — и тем самым наращивающей её напряжение («*деревья / мыслят в безветрие / под ветром*

молвят»). Понятно и то, что среди образцов этих сдержанных немногострочников — японская поэзия, и то, что следует автор этим образцам не буквально. В несомненном родстве эти стихи и со сверхкороткой, «точечной» прозой со сжатым сюжетом («жившая в нашем подъезде бабка / понаставила на балконе вертушек / и умерла // а вертушки всё вертятся / видимо по инерции»). Каждое из стихотворений фиксирует некоторую единственную в своём роде ситуацию, представляет собой формулу единичного — как будто не распространяемую за пределы ситуации и тем более точную.

покуда голубь во дворе
воркует всё крапя помётом
не вне игры я но в игре

за ходом ход за поворотом
другой какой-то поворот

но хода нет во двор обратно
где от подъезда до ворот
танцуют солнечные пятна

Так без единого далеко идущего обобщения (и уж тем более без малейшего пафоса) простая будничная ситуация, не переставая быть самой собой, становится схемой судьбы; единичное — именно благодаря своей единичности — оказывается формулой универсального.

(Но кстати: в стихах Хоменко, куда более объёмных внутренне, чем может показаться, слышны переключки с русской поэтической традицией. Они не очень часты, но узнаваемы моментально: так, стихотворение «эти жалкие строенья...» — почти-цитата тютчевского: «Эти бедные селенья, / эта скудная природа...». Оно совпадает с прецедентным текстом не только на уровне слов и ритма — оно ведь — почти? — в точности о том же: о том, что внешняя скудость открывает человеку глаза на существенно более глубокое и неотменимое.)

Иногда стихи Хоменко с их нарочито-простыми ритмами — почти детские, как бы простодушные в своей (квази)прямолинейности (не затем ли, чтобы не забивать сложностью высказывания сложность самой ситуации, оставить её свободной, дать ей сказать самой по себе?): «в магазин шагаю смело / за пакетом молока // ведь кому какое дело / что сегодня облака // откровенно кучевые / чьи тугие кругляши // задевают не впервые / за шершавости души // и медлительно проходят / и с поклонами и без // посмотреть что происходит / за кулисами небес», — воспроизводят детский безоружный, незащитный взгляд на всё происходящее и на самого лирического субъекта, в это происходящее вовлечённого: «с папой / на троллейбусе / по Кропоткинской / в Кремль // папа умер / троллейбусы отменили / Кропоткинскую переименовали // как же я доберусь / до Кремля». Последовательно отказывающийся от заглавных букв — как, впрочем, и от знаков препинания, добиваясь тем самым, вероятно, максимальной нейтральности интонации, — имена собственные, и только их, Хоменко пишет всё-таки с заглавной (и то, между прочим, не всегда: «соглашаюсь / на шуховскую // не брезгую / эйфелевой / / тоскую по вавилонской»). Видимо, в этом случае имена парадоксальным образом не собственные — но указывают на тип существования соответствующих башен, на их позицию, что ли. То же — когда «ветер-ураган» несёт лист «по тротуарам / и парижей и калу»: это не города — это типы пространства). Для знаков препинания он не делает никаких исключений.

Истинный возраст автора сказывается в таких случаях, помимо чёткости формулировок — в дистанции, неизменно удерживаемой между лирическим субъектом и предметами его наблюдения. Эту дистанцию можно воспринять и как ироническую — действительно, ирония постоянно чувствуется, никакого простодушия там на самом деле нет. Но куда скорее видится в ней средство избежать захваченности — чем бы то ни было. Наблюдатель и аналитик, Хоменко обходится в стихах без страстей: не пускает — никаких. Вообще никаких сильных чувств (даже когда — очень редко — называет их по имени), никакой взволнованности. Никаких восклицаний.

И кстати: стихотворение о папе, троллейбусе и Кремле — одно из исчезающе-немногих у Хоменко, в которые хоть мимоходом заглядывает история (Кропоткинскую переименовали, троллейбус отменили...).

Среди многого, от чего поэт в этой книге свободен, ещё и актуальные обстоятельства жизни: место и время — в смысле времени большого, исторического. (Разве что выговорит иногда обстоятельства человеческие, персональные координаты: *«жизнь / разбросала нас с братом / по разным полушариям / видимо с целью / поддерживать равновесие / всей Земли»*). Времени историческому с его повестками Хоменко решительно предпочитает природное, циклическое, с неизменными сезонами и погодой, близкое к вечному или, что даже вернее, имеющее гораздо более прямое отношение к существу дел человеческих. Указаниями на время этого типа стихи просто переполнены: ночь, рассвет, январь, октябрь, листопад, дождь, снег, ветер, весна, осень, зима... Языком всего этого можно говорить обо всём человеческом без перевода. *«проливные / с отчаяния или от счастья. // осенние / во смирение»*. Но также — возможно, чуть менее природного — интересует его и время метафизическое: очень родственное вечности и растущее напрямую из как бы простого, подручного времени повседневности (да отчасти и из природного тоже):

новый микрорайон
на ветру на отшибе

на излучке времён
на пространства изгибе
угнездившись едва
невзначай проживёте
может век может два

у зимы на излёте

Пространство, особенно важное для поэта, пропитанное личными смыслами, вообще не раз оказывается у него прямым выходом в метафизическое время, всевременье, причём это не только не зависит от степени исторической важности соответствующих мест, но куда скорее даже противоположно ей:

я любитель задворок
подворотен дворов
но особенно дорог
меж времён и миров
затерявшийся дворик
где живу молодым
лет пятьсот и не горек
мне отчества дым

(И, конечно, тут — ритмическая отсылка к очень многому, начиная с давно уже хрестоматийного «*Ни страны, ни погоста...*» — и ведь тоже в каком-то смысле о том же самом: о коренной связи с изначальным.)

Удивительным образом автор, почти уже четверть века живущий в столице Австрии, (почти) не пускает её в стихи (ну, по крайней мере, в этом сборнике). Вена во всей книге упоминается единственный раз, и то почти вскользь («*Вена ещё спала / двух-трёх пекарен кроме*»), и сразу же вслед за этим поэтическое внимание стремительно переносится на московскую улицу: «*...клён лишь колых-колых / листьями на Стромынке*», чтобы больше уже не возвращаться оттуда. Даже израильских городов тут больше, чем австрийских, — целых три (и то даже не столько их, сколько их имён: тот редкий для Хоменко случай, когда он вчувствуется в звуковое тело слов — и да, делает и из этого тоже своего рода формулу:

неотёсанные
словно бы из каменоломни
названия израильских городов

Кирият-Гат
Аждод¹
Лод

Зато, насколько это вообще возможно для автора, склонного изъясняться формулами, — сборник полон топографии русской, московской: те же Кропоткинская, Кремль, Стромынка; Малый Лёвшинский, где было «*семейное гнездышко*», Шуховская башня, а иногда даже очень подробно: «*Измайловский бульвар / на пересечении с Пятой Парковой*», который «*заснежен не меньше Сиреневого / на пересечении с Седьмой*» (впрочем, начертив эту подробную карту Измайлова, автор быстро отводит глаза и тут же начинает изъясняться многоохватными обобщениями: «*да и в целом в северном полушарии со всеми имеющимися пересечениями / включая образуемы е/ параллелями и меридианами // зима*»; но на эту зиму-вообще его взгляд навело, сфокусировало его на ней именно заснеженное Измайлово). Из венской топографии здесь одна только музей-квартира Шуберта. Австрийской жизни как таковой в книге нет совершенно — она даже не фон. Австрия несколько раз упоминается, но без характерных подробностей, и упоминаемая жизнь — почти никогда не человеческая: только природная. Это — осень, которая «*и в Австрии тоже осень*»; «*австрийская берёза*» (делающая вид, что понимает по-русски) и «*одно из альпийских предгорий*», где «*овечки стоят / не дрожат / и кивают неплохо*». Совсем строго говоря, таким же образом они могли бы стоять и кивать на любых других склонах, то, что волею судеб склоны оказались альпийскими, — чистая случайность и ни на чём не сказывается. Более того, причастный к делу святой, «*скотоводов угодник*», называется тут вряд ли уместным в Альпах русским именем — Егорий. Во всех остальных текстах, составивших книгу, поэт говорит либо о жизни вообще, либо, что реже, о жизни русской (можно ли предположить, что в каком-то смысле это для него одно и то же?).

Предположить можно и то, что такая избирательность связана с потребностью поэта в уже упоминавшейся дистанции. Очень большое расстояние — и только оно — даёт ему возможность высказываться даже о старательно избегаемой истории: «*вот и опять двадцать третий // год вперёд / сто назад // ещё немного / и умер Ленин*». И действительно: не тогда ли только возможно по-настоящему говорить об истории,

¹ Так! Хотя вообще-то Ашдод.

вообще — о больших формирующих, неподвластных человеку обстоятельствах, когда мы от них свободны?

Дмитрий ГАРИЧЕВ. Пусть долетят / Предисловие Ильи Кукулина. — М.: Горгуля, 2024. — 98 с.

Если Юлий Хоменко от истории отчётливо дистанцируется, то Дмитрий Гаричев смотрит на неё в упор, обжигая глаза. Он — поэт трагический.

Гаричев говорит изнутри большой исторической трагедии — изнутри войны всех против всех, разыгрывающейся на глазах автора, родившегося в 1987-м, начиная с его детства, с девяностых, с обстрела Белого дома, с чеченских войн, но на самом деле — в чём он прекрасно отдаёт себе отчёт — начавшейся намного раньше. Он говорит как выросший на обломках рухнувшего советского мира, на кусках его гниющей плоти; от имени человека, жизнь которого уже начиналась внутри руин, воспринятых как естественный ландшафт:

после альбомов, залистанных наизусть,
я спускался как если бы в венецианский двор,
в клеймах и оспинах; брошенный комбинат
поднимался как сам вавилон, и никто из нас
не был ни в чём виноват, куда ни пойд.

Это о детстве и юности в Ногинске девяностых. История, особенно ближайшая, проживается лирическим субъектом этих текстов совсем лично, почти телесно, как неотъемлемая внутренняя часть взросления; травматичность как бы встроена в его существование в качестве неперемного условия. Вот, в стихотворении, обращённом к отцу (видимо, уже умершему), повествователь выговаривает свои отношения с ним прежде всего через исторические события, пришедшиеся на его детство и юность:

...когда
наших вешали в грозном, ломали в подъездах
так, что было уже не собрать,
каждый сам за себя ужасался, и оба не знали,
как же произнести, и когда даже корчился «курс»,
мы тонули с ним поодиночке, но я, нагладевшись,
как сжимаешься ты в пиджаке,
тоже начал сжиматься.
<...>
на второй день «норд-оста» я понял в каком-то бреду,
что теперь нам с тобой наконец одинаково страшно,
словно в креслах соседних вдвоём
под скалой из пластита.

И даже произнося «я», Гаричев, по существу, всегда говорит от имени некоторого «мы» — собратьев по поколению, по времени и месту, застигнутых трагедией, ставших её участниками и жертвами.

все эти русские тела, как ни гнети, куда ни падай,
придуманы не для тепла, и нам самим давно не надо...

И место здесь для автора важно нисколько не менее, чем время.

Самую плоть этих стихов, их рельеф образует конкретная, узнаваемая, на ощупь знаемая автором и его сопластниками топография, — что ни топоним, то (горячий, воспалённый) клубок значений, понятный вполне, надо думать, только местным обитателям: родной для автора Ногинск, Павловский Посад («павловский», «павлопосад»), «загорск», Киржач, река Шерна, Электрогорск, Дулёво, Александров, Москва (далеко не в первую очередь), — иногда — клубок, пропитанный кровью (Бамут, Ведено, Грозный...). Кстати, заглавных букв в именах собственных (как и заглавных букв вообще) Гаричев устойчиво избегает — может быть, и затем, чтобы лишить эти слова привилегированного статуса. В том мире, который он описывает, вообще проблематично с устойчивыми иерархиями, а вследствие того и с ориентирами.

стоя в своей неправде со школьных лет,
я хочу думать, что правда может принадлежать
если не мне, то другим, и хочу знать этих других.

но чем больше другие мне говорят, тем отчётливее провал.

Трагедию своего времени Гаричев воспринимает как прямое продолжение катастроф ушедшего столетия: в каком-то смысле все они об одном, все составляют один континуум. Всё это — о крушении человека, идущем по меньшей мере со второго десятилетия XX века и касающемся далеко не одной только России.

правда осталась там, где никто не смог:
в рудниках алапаевска и подвалах читы,
в запертых кассах estadio nacional,
в гданьских печах «солидарности», спрятанных казино
этtersберга, с изнанки деревьев близ
мядининкая, в тканях на трудовой

тянется и не может тебя достать.

Гаричев многоголос. В предисловии к книге Илья Кукулин называет эти голоса масками, не тождественными персоне говорящего; думается, дело тут обстоит всё-таки сложнее — и иначе, чем в случае Дмитрия Александровича Пригова, с которым — с поэтическим субъектом которого — автор предисловия сравнивает Гаричева. Это, скорее, своего рода протейность: вливание, вживание в разные роли, в разные биографические обстоятельства, которые тем самым перестают быть чужими. Гаричев (уж точно в отличие от Пригова) не ироничен и не играет. У него всё смертельно серьёзно и горько. В каком-то смысле он принимает в себя всю боль если и не целого мира, то, по крайней мере, своей, ближайшей к себе его области. Московской области, да; её восточных окраин, региона, *«где все умирают / и друзья постепенно, но всё-таки сходят с ума»*. *«Этой терпкой земли»*, истерзанной историческими обстоятельствами; своего поколения, одной из основных черт которого он чувствует историческую неприкаянность:

мы тоже здесь спрыгивали с платформ,
приехав из городов,
где с нами разговаривал пар,
поднявшийся кое-как
над тёплыми черепами больниц,
училищ и производств,
и как нас тогда никто не ждал,
так и теперь не ждут.

Его высказывания об этой тотальной поколенческой неудаче — и социальной, и человеческой, почти прямые, почти декларативные — были бы совсем прямыми, не будь они так насыщены сложными ассоциативными ходами, множеством внутренних отсылок, далеко не всегда ясных внешнему наблюдателю. В какой-то мере это разговор с понимающими, со способными схватывать сказанное с полуслова; а в немалой степени — и с самим собой. Гаричев говорит на почти внутреннем языке.

сколько лет мы здесь слушаем нищие поезда,
курим электрогорский торф,
так никто не спросил наших дневников полевых
и не вызвался нас сменить.

мы счищали их стены по самое, но и там
не рассказывалось никак
происшествие наше, обратные имена,
ни какое включить кино.

Помимо разных собственных голосов, время от времени он заговаривает как будто чужими (каждый из которых даёт дополнительную возможность взгляда на выговариваемую жизнь, дополнительный ракурс), пишет по чужим — не то что мотивам, но матрицам, способам упорядочивания мира: ритмическим, а вследствие того отчасти и эмоциональным: «Из Эдуарда Багрицкого», «Из Ольги Берггольц», «Из Сергея Круглова», «Из Дениса Новикова», «Из Киплинга», «Из Фёдора Сологуба» и даже из не писавшего стихов Владимира Библихина, а также из Антониони (надо полагать, режиссёра, Микеланджело). Вероятно, это для того, чтобы взглянуть извне и на описываемую таким образом жизнь, и на сами эти матрицы — на, соответственно, принципиально неполную их применимость к своей реальности, а, возможно, — и на ограниченную их пригодность вообще. Илья Кукулин в предисловии называет это «остранением остранения» и особым способом исторической рефлексии: освобождающей рефлексией ещё и над поэтикой «наследников романтизма» с их «возвращением к романтическому бунту» против неудобной реальности, с их «выражением спонтанной и напряжённой эмоциональности», с «иронией над “непробуждаемым” миром» (ну, не знаю... Круглов уж точно не наследник романтизма, да и Антониони вряд ли). Во всяком случае, да, — в спонтанность выражения чувств — каких бы то ни было — ни лирический субъект Гаричева, ни, кажется, сам его автор не верят; и многоголосие книги стоит, по всей видимости, счесть ещё и указанием на кризис способов высказывания, на рассогласование между словом и смыслом.

Кукулин в предисловии вообще вполне настойчиво прочитывает поэзию Гаричева как социальное по основному смыслу высказывание и говорит даже, что его эстетическая позиция «имеет довольно четкий <...> политический смысл». Высказывания с политическим смыслом у него вне всяких сомнений есть, есть даже целые несомненно политические тексты, но, думается, назвать его эстетическую (да и этическую) позицию в целом политической было бы всё-таки упрощением и спрямлением смысла этих очень сложно устроенных текстов. Куда скорее это — проживание и диагностика некоторого человеческого состояния — проблематичного, в конечном счёте, повреждённого на многих уровнях: от человеческих душ и отношений — до быта, вещной среды и самой плоти мира.

разве проворством иудейска червя
слышно, как крепятся первичноротые бани,
пункты приёма, швейные корпуса.

рынок вьетнамский, узкий, как они все,
полагает слой синтепона, слой мишуры;
голые полотенца выпрастывает до утра
пыточный интернат.

И да, эта повреждённость тут несомненно обусловлена историей — максимально, насколько возможно, вмещаемой автором в свой кругозор, но в конечном счёте выходящей за пределы человеческого разумения и неподвластной контролю частного человека.

Алёна КАРИМОВА. Между. — М.: ОГИ, 2024. — 88 с.

Совершенно непредвиденным образом стихи Алёны Каримовой по степени явленной глазу сложности занимают место как раз *между* двумя уже рассмотренными полюсами — текстами Хоменко, аскетически-ясными, предельно сдержанными, — и стихами Гаричева с их многоуровневым внутренним движением, резко-неочевидными ходами, тёмным пламенем. Внешне стихи Каримовой вполне традиционны, без сопротивления укладываются в формы, давно освоенные поэтической речью, а с нею и читательским чувством (что само по себе, надо признать, приводит душу в порядок самой упорядоченностью жизни внутри стихов, оказывая на неё в целом скорее умиротворяющее воздействие). Дисциплинированная, но без чрезмерных напряжений силлабо-тоника — как чисто выметенный, заботливо натопленный дом с большими светлыми окнами, в котором можно жить, никуда не торопясь (даёт, значит, чувство защищённости — с которым нынче совсем плохо), мягкие элегичные интонации:

Бывает так — стеной повалит снег,
И в мире нет ни городов, ни речек.
Большое поле и на белом — след.
Куда бредёшь ты, гордый человек?
На много километров — никого,
Ни огонька, ни печки и ни свечки,
Нет, кажется, тебя и самого,
А только путь и только лучик млечный.

С первых же страниц бросается в глаза пристрастие автора к уменьшительным суффиксам — *речка, человек, огонёк, лучик, росточек...* — делающим её поэтическую речь отчасти детской (в смысле её адресованности детям, — ну что ж, многие ли будут так самонадеянны, что сочтут себя совершенно взрослыми?) — скажем, так: обращённой к детской стороне читательского существа, — уже в первом стихотворении такое обращение прямо и звучит: «Главу о свойствах света повтори, / Мой мальчик, с надлежащим прилежаньем» (окликается не только детская сторона человеческого существа, но ещё и ученическая).

В этой вкрадчивой, совсем чуть-чуть наставительной ласковости видится, с одной стороны, что-то усыпляющее (и, конечно, немедленно вызывает протест). С другой стороны, протест прекращается, как только усматриваешь в этом вполне понятное старание смягчать горечь и жёсткость нашей жизни. Попытку сделать её выносимее, как и посредством той самой аккуратной выстроенной силлабо-тоники. Да и не факт, что поэт говорит это (одним только) нам — куда вернее, (и) самой себе: «Признать себя несостоятельным, / Несмелым, несамостоятельным, / И не усвоившим

урок...» (это ли не настоящее, честное внутреннее детство; вспомним, кстати, сопоставимые жесты и у Юлия Хоменко). Тем более что речь идёт о предметах далеко не детских — и все мы малы перед их лицом.

Да, об одиночестве, о тщетности усилий («*тщетны ли все старанья...*»), о судьбе. Об антропологических константах, их же не преидеши. О том жизненно важном, что неподвластно человеческому контролю: «*Удача — такая птица — есть или нет: / Не ждёшь — прилетает, а так — примани поди, — / Ни от ума не зависит, ни от таланта*». О ясном осознании актуальных обстоятельств, которые и нет нужды очередной раз проговаривать подробно, и так все знают: «*Эта ракета снизу почти звезда... / Что это был за месяц такой — ирпень?*» О том, что «*из полной ужаса головы / телеграфирует сердце: спасенья нет*». О соблазне небытия: «*Мрачных больниц нашатырь и йод / так же полезны, как яд змеи. / Невозвращения гудит струна, / ей искушённый не внемлет слух*» («*Но равнодушно и спокойно / руками я замкнула слух...*» — немедленно отзывается читательская культурная память). И об упорстве жить во всём этом — осмысленно и направленно:

Через холмы зелёные,
через пустые хлопоты,
поздно поняв,
что в общем-то
разницы нету, как —
с радостью озарения
или набравшись опыта —
доковылять до Света,
пряча в карманах Мрак.

Возможно ведь и то, что этими своими уменьшительными суффиксами автор деликатно, недекларативно обращает внимание и на принципиальную малость человека в мире («*Куда бредёшь ты, гордый человечек?*»). В каком-то отношении это (и) религиозная лирика: главный её Герой, которого нет нужды называть по имени, появляется уже в первом стихотворении книги: «*...Снега Его полны живым сияньем*», и сразу же во втором — совсем открытым текстом: «*...Вот и молись в ладони, / вот и целуй распятыя...*»

Впрочем, эту тему поэт не педалирует, оставляя её, скорее, на уровне общей настройки внимания. Иной раз упомянет Героя иронически: «*Или в сад заброшенный тропкой, кем-то хоженной — / за спиной у Боженьки яблоч воровать*», иной раз и вступит с Ним в диалог: «*Господи, думаю, как же Ты избрёл / эту забаву — время... <...> Люди ужели Тебе не милей травы?*», но, в общем-то, не тревожит Его всеу. (И кстати: самая последняя строчка книги тоже о Нём: «*Любит всех Господь, даже нас с тобой*».)

С детскостью же той стороны человеческого существа, к которой обращается Каримова, напрямую связана и почти-фольклорность некоторых её стихов (да и название из детского обихода — «Считалка»):

поколдуй моя сова
вынь туза из рукава
чтобы при любом раскладе
не болела голова
счастье рядышком сиди
в лес волчонком не гляди
заплутаешь да растаешь
да ищи тебя поди,

и тяготение к совсем простым — действительно, как в детских книгах (только детские книги читать, только детские думы лелеять) — формам высказывания:

Озеро прячет рыб,
по берегам — трава,
от золотой жары
кружится голова.
Сосны растут в песке,
тропки уводят в лес,
будто на волоске
мы от больших чудес.

В этой многообразной детскости есть, кстати, и нечто очень взрослое: отказ повиноваться актуальным обстоятельствам в любом их облике:

Вечное детство — не слушаться правды камней,
правды деревьев и боя над Спасскою башнею.

Никакого прекраснотушения у поэта нет и в помине («Чего уж чего, а тьмы нам на свете хватит»). Всё тут есть: и «тёмные зёрна предчувствий смутных», и «прикосновенный тоски запас», и осознание своего бессилия («Ближний молчит, дурак. / Я бы его спасла, / если бы знала как»), и печальное понимание того, что «да, предпочтительнее бестелесность — / И безопасней, и куда честней» (ну да, отраднo спать, отрадней камнем быть). И никаких, на самом деле, иллюзий, — затем, видимо, и требуется лёгкая, чуть архаичная (некоторые тексты, пожалуй, могли бы быть написаны и в позапрошлом столетии и смотрелись бы там вполне органично), мягко-ироничная манера повествования, — в этом есть особенное достоинство: не устраивать драм, не восклицать и не заламывать руки там, где, казалось бы, для этого есть все основания:

Потягивая чай из блюдца,
беспечно дальнего любя,
легко на свете обмануться
в необходимости себя.
И вправду, кто бы мог ещё
так горевать проникновенно
над неустроенной Вселенной,
масштабы не приняв в расчёт.

Кстати, в самом этом архаизме, в отчётливой интонационной отсылке к XIX веку вообще и к солнцу русской поэзии в частности («Не мысля гордый свет забавить, / Вниманье дружбы возлюбя, / Хотел бы я тебе представить / Залог достойнее тебя...») нет ли обращения к тем основам нашего культурного существования, которые уже хоть как-то доказали свою надёжность? (А ведь доказали, и не раз.) Таких отсылок разной степени явности — в том числе и ко временам более поздним — здесь на самом деле немало; вот, например, из не очень явных — к Мандельштаму:

Ночью сильней притяженье света.
Слышишь — на кухне поёт уют?
Сядем за стол, развернём газету,
чаю нальём или нам нальют.

Ну да, «мы с тобой на кухне посидим, / сладко пахнет белый керосин», как было сказано в обстоятельствах, пожалуй, покруче наших.

Или вот вдруг — с редкой для сдержанного автора откровенностью:

Это, конечно, не я, это кто-то другой
вымолить хочет прощенья, из времени выпрыгнуть.

(Ахматовское тут же: *«Нет, это не я, это кто-то другой страдает. / Я бы так не могла...»*)

Что ещё есть в этих повторах, в этих разноуровневых цитатах и аллюзиях? — Мысль о том, что очень многое из переживаемого нами здесь-и-сейчас и мнящегося уникальным — уже было. И человечество выжило.

И всё это, да, обращения к основам. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе.

Поэт усматривает и иные источники жизненной силы — впрочем, из числа основ и они: это то, что остаётся самим собой при любых исторических обстоятельствах, *«не имеет касанья к любым режимам»*. Хоть (драгоценная) бытовая рутина (*«А надо бы / починить ботинки, / выбросить мусор, / разобрать бумаги / и сходить в магазин за едой...»*), хоть неотменимая смена природных состояний и времён суток и года, составляющая надёжный противовес линейности времени (*«Долгий зной тягучим мёдом / В сотах дней хранит июль <...> Исполняйся, отпуск длинный — / Здесь что вторник, что среда — / Куст крыжовник, куст малина, / Вдоль забора лебеда. / Это дача. Мы на даче / В междувремье парим...»*). Она настолько важна, жизнеобразующа, что вполне уместно и взмолиться о ней верховному Адресату: *«Дай мне, Боже, волшебное лето: / Созерцать голубой виноград...»*.

Да мы уже выросли-выросли из контекста.
Это всё внешнее, знаешь ли, наносное,
я о другом — неизменном — зимой, весной...
Сможешь — продай, подари, собери проценты —
а жизнь всё равно внутри — ей нужна плацента.
Она не имеет касанья к любым режимам,
она пробежит, проскользнёт через все зажимы
и спрячется снова в темень свою густую,
снова затянет песню свою простую <...>

Воистину: жизнь — настоящая жизнь — всё равно внутри.

Смешно бояться: полны мои закрома,
И в них сокровищ — на целый толстый словарь.

Что же это за способ (поэтического) существования в истории, взаимоотношений с нею? Он (пожалуй, один из наиболее конструктивных способов) примерно таков: прекрасно отдавая себе отчёт в происходящем, нисколько не обманываясь в этом отношении, обратиться к тем ресурсам устойчивости и смысла, которые были выработаны и накоплены до нас и доказали свою действенность (внимание к природному, дочеловеческому — тоже ведь из их числа: *«Море и впрямь человеку дано в утешенье»*; как и то самое детство, отсылки к которому мы не раз уже обнаруживали на этих страницах: *«Разобьётся о витражи / зимний сумрак. / Начнём игру. / Эни, бени... и водишь ты! / Детство кружит / ...четыре, пять! / Ну беги, покупай цветы — / выходи / меня / искать!»*). И поэзия, кстати, тоже помогает: *«Под яблоню сяду / Стихи сочинять — / Минует эпоха»*... Не говоря уж о межчеловеческих отношениях: *«Только целуя родное во тьме плечо, / знаешь, что можно истину побороть»*; *«Ты — меня, а я тебя сберегу. / Пересилим серую эту чуму»*. Да ещё и верная память о том, что — по какому бы поводу поэт этого ни говорил — *«человек — это больше, чем тело, страна и планета»*.

Борис Минаев

Смешной лес

Почему я с детства любил «Лес» Островского?

С самой первой черно-белой телеверсии спектакля, которую смотрел лет в двенадцать на стареньком «Темпе», до самой последней постановки в театре «Эрмитаж» у Михаила Левитина — всегда он мне нравился.

Есть в нём какое-то загадочное обаяние.

Смотрите: один человек идет пешком «из Керчи в Вологду», то есть с юга на север, а другой — откуда-то с севера на юг. Как могут эти два человека, причем знакомые друг с другом, случайно встретиться где-то в лесу, на лесной дороге? Не на вокзале, не на городском перекрестке, а в лесу!

Ну бред же!

Или не бред, а какая-то клоунада...

Водят нас за нос, дурят, прикалываются. Не может этого быть в реальной жизни.

Московский зритель знает, наверное, что большие, во всю стену, фотографии советских клоунов — Енгибарова, Никулина и других — обрамляют зал театра «Эрмитаж», после пожара в историческом здании временно поселившегося на Новом Арбате. Клоунада и «клоунский» взгляд на пьесу, на персонажей вполне ошутимо присутствует и в этом спектакле Михаила Левитина, хотя пьеса классика русского реалистического театра для этого вроде бы не совсем подходит. Ну да, есть в ней некая театральная условность: встреча в лесу, а рядом — поместье тётушки, всё как-то так совпало, как совпадает только на сцене. Однако...

Однако эта условность гомерически разрастается до размеров вселенского балагана, бала дураков, грандиозного шапито дурацких и избыточных страстей.

Да, а что касается театра «Эрмитаж» и его здания...

Нет ничего более постоянного, чем временное, в том числе временная прописка, как известно любому москвичу. Временную прописку московские власти продлевали театру ни много ни мало целых девять лет, и вот, наконец, к строительству приступили.

В конце спектакля актеры строят прямо на сцене маленькую сцену, на условном фронтоне которой на грубых досках написано косыми буквами: «Московский театр “Эрмитаж”».

Именно туда, в этот театр мечты, где будет всё своё, туда, в театр, независимый от жадных антрепренеров и завистливых критиков, независимый и от злобы дня, и от злобы века, от его жестокости, несправедливости, от его угрюмой и патриархальной морали, идут теперь Счастливых и Несчастливых.

...Но подождите — а как же те самые традиции русского реалистического театра?

Как же вот этот самый знаменитый лес помещицы Гурмыжской, который продают кусками, под расписку и на честном слове, за толстые пачки ассигнаций? Как же знаменитое самодурство, тирания, вся эта цепь персонажей, которые стараются втереться в доверие, не потерять влияние, обмануть, схитрить, поиметь, не остаться в дураках и сорвать куш?

Как же вся эта хорошо знакомая по классическим советским учебникам (и, надо сказать, никуда не девавшаяся) социалистическая идея: одни богатые жрут других богатых, народ страдает, народное горе растёт, и только искусство, бедное и в лохмотьях, что-то ещё жалко лепечет?

Увы, никуда она не делась, эта социалистическая идея, это вечное русское «народничество», и никуда не денется — богатые будут жрать богатых, бедные воспитанницы будут плакать и надеяться только на чудо, лицемерие и тирания властей предрержащих ничем и никем не устранимы, даже если ради этого совершается подвиг библейского масштаба.

Неполноту и, мягко говоря, внутреннюю противоречивость этой идеи вечной борьбы за справедливость можно только обсмеять, обыграть, погрузить в иронию, рассыпав по всему сценическому тексту клоунские гэги, гримасы и репризы. При этом нисколько не потеряв трагизма, также свойственного «Лесу». А ведь именно в таком диапазоне — от трагического до остро-комического — и работают два этих актера, Счастливец и Несчастливцев.

Мороз по коже продирает во время монолога Счастливецца (Сергей Бесхлебнов) о том, как его «заворачивали в ковёр», когда зимой везли из очередной Вологды в очередную Керчь, поскольку ничего, кроме лохмотьев, на нем не было. И в то же время — сколько буффонады и счастливого смеха в его игре, безумных прыжках по сцене, в его потрясающей театральной *вибрации*...

Впрочем, прекрасных кульбитов, ломающих наши почти двухсотлетние представления о том, что возможно (и невозможно) в этом тексте, на сцене театра «Эрмитаж» предостаточно. Купец Восмибратов, который ведет важные переговоры и сватает сына, не выпуская из рук огромного топора, например. «К топору зовите Русь!» — да вот же, уже позвали, да она, Русь, всегда вообще-то с топором, кто б сомневался. А когда Несчастливцев (Станислав Сухарев) в столкновении с купцом Восмибратовым изображает сурового офицера, защищающего честь оскорбленной тетушки, звучит знаменитая советская мелодия из фильма «Последний дюйм» («Тяжёлым басом гремит фугас, ударил фонтан огня...») — и опять это абсурдно, дико, но почему-то невероятно смешно, превращая всю сцену опять же в клоунскую репризу.

Всё смешно. И всё как-то страшно. Но чтобы не было страшно, — надо смеяться.

Тут нет никаких сюжетных или речевых смещений, добавлений, персонажи Островского у Левитина говорят известные с детства слова, то есть «держатся внутри роли», но при этом кажутся какими-то неузнаваемыми: и недоучившийся гимназист Буланов (Андрей Павлов), прыгающий по сцене, как будто играет в «классики», и Улита (Ольга Левитина), блестяще сыгранная полоумная кликуша, издающая в первом акте только звуки, но не слова, и сосед Будаев (Олег Заболотный), на протяжении всего спектакля сбивающий из ружья плюшевых чаек.

Вроде бы всё не всерьез, сплошной фарс и бесконечное надувательство...

Но — отчего ж так горько на душе?

В Москве, в новом здании Третьяковки на Кадашевской набережной, проходит выставка «Передвижники», сложенная из разных собраний, в том числе

из провинциальных музеев, сотни работ — и известных, ещё по школьным учебникам, и совсем неизвестных.

Конечно, одна из главных тем передвижников — та самая социалистическая, в широком смысле, боль за народ. Скажем, очень мощно выраженная в картине Ярошенко «Всюду жизнь»: теплушка, ссыльные или переселенцы кормят голубей из зарешеченного окна на станции. Хрестоматийные «Крестный ход» или «Утро стрелецкой казни», царевич Алексей, разговаривающий с Петром, царевна Софья, и даже Христос в пустыне — все знаменитые сюжеты, и исторические, и религиозные, собранные вместе и в таком порядке, кажется, тоже говорят об одном: власть, угнетение, казни инакомыслящих, загадочная народная масса, которая держит свой протест где-то глубоко внутри...

И как бы ни спорили с этим сами кураторы выставки, в умных и обстоятельных текстах объясняющие зрителю, что в первую очередь передвижники искали истину, высокий идеал, что главное — их духовные устремления, от этой темы освобождения страны никуда не деться. Она витает практически во всех картинах, где изображена «народная жизнь».

Но всё же в них, в этих бесконечных массовых сценах, которые передвижники изображали столь искусно, есть и другое.

Не столь очевидное, не лежащее на первом плане.

Люди на их картинах не только страдают от социального угнетения, тяжело трудятся и выживают.

Нет, это богатый красками, полнокровный мир, удивительный и обескураживающий именно в антропологическом смысле: столько мощи и красоты в этих лицах, фигурах, пейзажах и даже костюмах, просто засмотришься. Ничего похожего на серую, темную, невежественную и замученную Россию из статей тогдашней критики и публицистики.

И это — совершенно другая страна. Абсолютно здоровая, несмотря на все противоречия, с огромным количеством самых разных и человеческих, и социальных типов. Страна, которая вполне готова была развиваться естественно и мощно.

Но увы, что-то в ней надломилось...

В начале спектакля режиссер Михаил Левитин честно предупреждает зрителей, сидящих в зале, что мы, мол, не можем играть спектакль в традициях Малого театра, показывать людей, как он говорит, «спокойно сидящих за столом», — то есть, грубо говоря, играть тех самых людей, которых рисовали передвижники.

Та Россия, с её глубокими и традиционными типами, с их психологией, с их понятиями о чести и справедливости, с их привычками и речью, — умерла, сгорела уже дважды или трижды, даже и в советском изводе.

И играет театр эту пьесу — про людей сегодняшних. Всё время находящихся на грани трагического и смешного, между ужасом и счастьем, между злом и добром. Нет здесь злодеев, в этом лесу, а есть люди мечущиеся — и Гурмыжская (Ирина Богданова), захваченная своей любовью, как болезнью, и Восмибратов, который вроде бы и есть то могучее зло, которое творит неожиданное добро, но и он, со всем своим богатством, как-то тяжело и горько не уверен в себе.

Что-то очень неладно со всеми ними (нами?), со всеми характерами, со всеми социальными прослойками, со всеми «общественными отношениями», и поэтому единственный выход — смеяться.

Искать смех и находить его.

Summary

Dmitrij Isakzhanov. Proskynetarion

(the opening chapters see: DN, #8, 2022; #4, 2023; #3, 2024)

The protagonist of the novel lives in his lasting present woven of memoirs and feelings of the childhood among which there are emerging events and people – all he had seen, heard, everything that imprinted in his character and destiny. How to pass all this on to his son? Though the narrative drawing of the novel is rather simple (the protagonist comes home from the United Arab Emirates where he had been working to Russia, into the family's world that is falling apart) first of all this novel is about the time within which the life is being lived and overcome.

Poetry

Sergej Zolotarev's collection of poems with the ironical title "The Absolute Classic" presents the rhymed portrait of our time – complicated, sometimes absurd, causing bewilderment or delight but inseparably linked with the reality of the life in general and a separate person's life in particular.

In Felix Chechik's lyrics much is told about the childhood, parents and his dear town of Pinsk. With the years all this is being brought into sharpest relief, becomes more painful and the life begins to remind Chekhov's plays and Bakhtin's carnival.

The poetics of Lyubov Glotova is based on "the true simple" which is not only time but the everyday life and the life of the whole world.

Adolf Shapiro. Stand Still! Partings and Meetings

Chapters from the upcoming book

"The phantom pain of the loss of the theater didn't let me go. In my dreams I was trying to get into it. What the hell?! I don't recognize the door, it is different, not familiar. I ring the bell, I knock at the door. The janitor doesn't open it. Of all people! He's always so friendly... I'm shouting at him so that feel ashamed of myself... Impossible to recount all those dreams. The more distinct was the dream the worse was the morning: the previous life will never return again and the new one will be totally new..." Under the heading "Prose.doc" we present chapters from the future book of the theater director A. Shapiro. His life after the closure of Riga's Theater of the Young Audience. Developed by the time portraits of the beloved people that surrounded the author in his childhood and the people of the theater: Natalya Krimova, Oleg Tabakov, David Borovskij, Sergey Dreiden...

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России** — **ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»
Москва, ул. Тверская, 17
(вход с Малого Гнездниковского переулка)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





Читайте:

Георгий Гратт. Двери войны. Повесть

Тёма вскочил с первыми ударами. Разрывы слышались где-то далеко за лесом и станцией, но земля содрогалась так, будто какой-то мифический небесный кузнец колотил по ней своим тяжким молотом. «Дальнобойная кроет, — мелькнуло в голове мгновенное озарение. — Не наши — немцы!» А вместе с этим первым пришло и другое — осознание собственной правоты, но вызвало оно вовсе не удовлетворение, а горечь. Да кому она нужна теперь, эта правота? Всё это пронеслось в сознании мгновенно, он даже не успел толком вскочить на ноги, а вскочив, тут же бросился тормозить товарищей: — Подъём!!! Началось! Война!

Снаряды пожились уже возле самой станции, и когда Юрка наконец-то завёл и вытолкал свою колымагу на дорогу, весь лагерь бурлил и кипел, словно растревоженный муравейник, разворошенный палкой. Вдоль железки горели пакгаузы, рвались складские помещения и чёрный дым заволакивал округу, а над головой, сшибая листву, сучки, свистели и хлюпали, врезаясь в стволы, осколки фугасов.